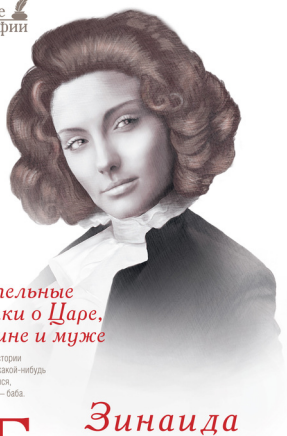


Великие
биографии



Язвительные
заметки о Царе,
Сталине и муже

Еще не было в истории
примера, чтобы какая-нибудь
народа так обжилась,
как мы. Россия — баба.

Зинаида
Гиппиус

Зинаида Николаевна Гиппиус
Язвительные заметки о Царе, Сталине и Муже
Серия «Великие биографии»

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6376393

Гиппиус, Зинаида Язвительные заметки о Царе, Сталине и Муже : АСТ; Москва; 2014

ISBN 978-5-17-081870-9

Аннотация

Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью. Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин XX века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением.

Содержание

Автобиография	6
«Точно внешние путы на мне всегда»	10
«Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например..»	11
«Никогда не приходила мне в голову мысль о любви...»	15
«Это я в яму захотела»	19
«Но если я ненавижу государство российское?»	26
«Не революция – блевотина войны»	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Зинаида Гиппиус Язвительные заметки о Царе, Сталине и Муже

Есть люди, которые как будто выделаны машиной, на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями, и есть другие, как бы «ручной работы», – и такой была Гиппиус. Но помимо ее исключительного своеобразия я, не колеблясь, скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина, человек, среди, может быть, и более одаренных поэтесс, которых я встречал.

Г. Адамович

Гиппиус (Мережковская) Зинаида Николаевна – поэтесса, беллетрист, драматург и литературный критик. Из обрусевшей немецкой семьи, предки отца переселились в Россию в XIX веке; мать – родом из Сибири. Из-за частых переездов семьи (отец – юрист, занимал высокие должности) З. Гиппиус систематического образования не получила, учебные заведения посещала урывками.

В 1889 году в Тифлисе вышла замуж за Д. С. Мережковского, с которым «прожила 52 года, не разлучаясь ни на один день». Вместе с мужем в том же году переехала в Петербург; здесь супруги Мережковские завели широкие литературные знакомства и вскоре заняли видное место в художественной жизни столицы. Печататься начала в 1888 в «Северном вестнике». Вместе с Д. Мережковским, В. Брюсовым и др. явилась одним из зачинателей символизма.

В 1899–1901 Гиппиус тесно сотрудничает с журналом «Мир искусства»; в 1901–1904 является одним из организаторов и активным участником Религиозно-философских собраний и фактическим соредактором журнала «Новый путь», где печатаются ее умные и острые критические статьи под псевдонимом Антон Крайний. Становится ведущим критиком журнала «Весы».

В начале века квартира Мережковских была одним центром культурной жизни Петербурга, где молодые поэты проходили нелегкую проверку личным знакомством с Гиппиус.

События Революции 1905–1907 стали переломными в творческой биографии З. Гиппиус. После 9 января, которое, по словам писательницы, «перевернуло» ее, актуальная общественная проблематика, «гражданские мотивы» становятся доминирующими в ее творчестве. Гиппиус и Мережковский были непримиримыми противниками самодержавия, борцами с консервативным государственным устройством России.

К октябрьской революции 1917 Гиппиус отнеслась с непримиримой враждебностью, памятником которой стали книга «Последние стихи. 1914–1918» (1918) и «Петербургские дневники», частично опубликованные в эмигрантской периодике 1920-х годов, затем изданные по-английски в 1975 и по-русски в 1982.

Ненависть к революции заставила Зинаиду Гиппиус порвать с теми, кто ее принял, – с Блоком, Брюсовым, А. Белым. Она описывается (наперекор Блоку, увидевшему в ней взрыв стихий и очистительный ураган) как «тягучее удушье» однообразных дней, как «скука потрясающая», хотя чудовищность этих будней внушала одно желание: «Хорошо бы ослепнуть и оглохнуть». В корне всего происходящего «лежит Громадное Безумие». Тем важнее, согласно Гиппиус, сохранить позицию «здорового ума и твердой памяти».

Художественное творчество Зинаиды Гиппиус в годы эмиграции начинает затухать, она все больше проникается убеждением, что поэт не в состоянии работать вдали от Рос-

сии: в его душе воцаряется «тяжелый холод», она мертва, как «убитый ястреб». Эта метафора становится ключевой в последнем сборнике Гиппиус «Сияния» (1938), где преобладают мотивы одиночества и все увидено взглядом «идущего мимо» (заглавие важных для поздней Гиппиус стихов, напечатанных в 1924). Попытки примирения с миром перед лицом близкого прощания с ним сменяются декларациями непримиренности с насилием и злом. Бунин, подразумевая стилистику Гиппиус, не признающую открытой эмоциональности и часто построенную на использовании оксюморонов, называл ее поэзию «электрическими стихами», Ходасевич, рецензируя «Сияния», писал о «своеобразном внутреннем борении поэтической души с непоэтическим умом».

Символизм Гиппиус – это символизм той части дворянской интеллигенции, которая не приняла первых революционных бурь. В большинстве своих рассказов и повестей Гиппиус дает образ человека, теряющего почву, лишённого всякого смысла существования.

Умерла Зинаида Николаевна Гиппиус в Париже 9 сентября 1945.

Автобиография

Семья Гиппиус ведет свое начало от Адольфуса фон Гингста, переименовавшего фамилию Гингст на фон Гиппиус и переселившегося в Россию (в Москву) в XVI, кажется, веке из Мекленбурга (герб фон Гиппиус – 1515 г.) – Несмотря на такое долгое пребывание в России, фамилия эта до сих пор в большинстве своем – немецкая; браки с русскими не давали прочных ветвей.

Мой дед, Карл-Роман фон Гиппиус, был женат на москвичке Аристовой, русской. Первый сын их, Николай Романович, был моим отцом. Он очень рано окончил Московский университет и затем прожил, ввиду начавшегося туберкулеза, около двух лет в Швейцарии. Вернувшись, сделался «кандидатом на судебные должности» в Туле. В тот же год он познакомился с моей матерью, молодые братья которой тоже служили в Туле по судебному ведомству.

Дедушка мой по матери, В. Степанов, в то время уже умер; он был полицеймейстером в Екатеринбурге. Сам необразованный, он, однако, послал обоих сыновей в Казанский университет. После его смерти вдова с дочерьми переехала в Тулу, к сыновьям.

Бабушка с материнской стороны всю жизнь потом прожила с нами. В противоположность другой моей – московской – бабушке, Аристовой, которая писала только по-французски и не позволяла звать себя иначе, как *grand'maman*, эта до смерти ходила в платочке, не умела читать и даже никогда с нами не обедала.

В январе 1869 года мой отец женился и уехал в Белев Тульской губернии, где получил место. Я родилась в Белеве, в конце того же 1869 г., 8-го ноября, а через шесть недель отца опять перевели в Тулу, товарищем прокурора, и меня тетка везла всю дорогу, на руках, в возке.

С этих пор и начались наши постоянные переезды: из Тулы в Саратов, из Саратова в Харьков, причем каждый раз в промежутке мы бывали и в Петербурге, и в Москве, где подолгу гостили.

Я росла одна. Все с той же, вечной нянькой, Дарьей Павловной, а потом с бесчисленными гувернантками, которые со мною мало уживались.

В 1877–78 г. моего отца перевели в Петербург товарищем обер-прокурора Сената. Но мы прожили там недолго: туберкулез отца сразу обострился, и спешно был устроен его перевод опять на юг, в крошечный городок Черниговской губернии Нежин, на место председателя суда. Меня отдали было в киевский институт, но через полгода взяли назад, так как я была очень мала, страшно скучала и все время проводила в лазарете, где не знали, как меня лечить: я ничем не страдала, кроме повышенной температуры.

В Нежине не было тогда женской гимназии, и ко мне ходили учителя из Гоголевского лицея.

Через три года отец мой, все время прихварывавший, сильно простудился и умер (9-го марта 1881 г.) от острого туберкулеза. Умер молодым – ему не было еще 35 лет. После него осталось довольно много литературного материала (он писал для себя, никогда не печатал). Писал стихи, переводил Ленау и Байрона, перевел, между прочим, всего «Каина».

После смерти отца мать моя с детьми (в то время у меня было уже три совсем маленьких сестры) решила окончательно переселиться на житье в Москву. Средства оказались небольшие, а семья порядочная: с нами жила еще бабушка и незамужняя тетка, сестра моей матери.

Но и в Москве мы не прожили более трех лет: моя болезнь, в которой подозревали начало наследственного туберкулеза и благодаря которой я должна была оставить классиче-

скую гимназию Фишер (мать почему-то отдала меня туда, и гимназия мне нравилась), – эта болезнь заставила нас сначала переселиться в Ялту, а затем в Тифлис.

В Ялте мы прожили год, на уединенной даче А. Н. Драшусова по дороге в Учан-Су. Там у меня были только книги, занятия с сестрами да бесконечные писания – писем, дневников, стихов... Стихи я писала всякие, но шуточные читала, а серьезные прятала или уничтожала.

Еще при жизни отца я хорошо знала Гоголя и Тургенева. В Москве, особенно за последний год, перечитала всю русскую литературу и особенно пристрастилась к Достоевскому. Читала беспорядочно, и помогали мне кое-как разобраться только два человека: дядя с материнской стороны, живший у нас некоторое время (вскоре он уехал и умер от горловой чахотки), и учитель последнего года в Москве, Николай Петрович (фамилии не помню), которому я до сих пор благодарна. Он приносил мне новые книжки журналов, сам читал мне классиков, задавал серьезные сочинения. Помнится, что он писал тогда в «Русских Ведомостях».

Переехали мы из Ялты в Тифлис отчасти потому, что там жил второй брат моей матери с семьей, известный тифлисский присяжный поверенный, редактор им же созданного «Нового Обозрения». Меня, хотя я и поправилась, мать еще боялась везти на север, и сестры были слабого здоровья.

В гимназию поступать оказалось поздно (мне было 16 лет), я бы и не выдержала экзамена в последний класс – слишком бессистемны были мои знания. Умела заниматься тем, что нравилось, а к другому до странности была тупа.

Книги – и бесконечные собственные, почти всегда тайные, писания – только это одно меня, главным образом, занимало. Пристрастилась одно время к музыке (мать моя была недурная музыкантша), но потом бросила, чувствуя, что «настоящего» тут не достигну. Характер у меня был живой, немного резкий, но общительный, и отнюдь не чуждалась я «веселья» провинциальной барышни. Но больше всего любила лошадей, верховую езду: ездила далеко в горы.

Летом умер мой дядя. Следующее лето, 1888 года, мы проводили в Боржоме (дачное место около Тифлиса), и там я познакомилась с Д. С. Мережковским.

Меня в то время тифлисская молодежь звала «поэтессой». Молодежь неуниверситетского города – это или выпускные гимназисты, или офицеры. Но офицеры у нас не бывали, они мне казались более грубыми и тупыми, нежели гимназисты, с которыми мы вместе увлекались едва умершим Надсоном; многие из них, как и я, тоже писали стихи. К тому же это были все товарищи моего двоюродного брата, с которым я очень дружила.

Д. С. Мережковский в то время только что издал первую книжку своих стихотворений. Они мне не нравились, как ему не нравились мои, не напечатанные, но заученные наизусть некоторыми из моих друзей. Как я ни увлекалась Надсоном, – писать «под Надсона» не умела и сама стихи свои не очень любила. Да они, действительно, были довольно слабы и дики.

На почве литературы мы много спорили и даже ссорились с Мережковским.

Он уехал в Петербург в сентябре. В ноябре, когда мне исполнилось 19 лет, вернулся в Тифлис; через два месяца, 8-го января 1889 года, мы обвенчались и уехали в Петербург.

Стихи мои в первый раз появились в печати в ноябре 1888 г. в «Северном Вестнике», за подписью З. Г.

Вслед за нашим отъездом уехала из Тифлиса и моя мать с семьей, сначала в Москву, а потом в Петербург (где и скончалась в 1903 г.).

Дальнейшая жизнь моя в Петербурге, литературная деятельность, литературные круги, мои встречи и отношения с писателями за двадцать с лишком лет – все это могло бы послужить темой для мемуаров и мало годится для автобиографической заметки.

За все протекшие годы мы с Мережковским никогда не расставались. Много путешествовали. Жили в Риме. Два раза были в Турции, в Греции.

Отец Мережковского был довольно состоятельный человек (он умер глубоким стариком, в 1906 году), но, благодаря личным свойствам и множеству дочерей и сыновей, он мало помогал нам, и мы жили почти исключительно литературным трудом. Стихи я всегда писала редко и мало, – только тогда, когда не могла не писать. Меня влекло к прозе; опыт дневников показал мне, что нет ничего скучнее, мучительнее и неудачнее *личной* прозы, – мне хотелось объективности.

Первый мой рассказ «Простая жизнь» (заглавие изменено М. М. Стасюлевичем на «Злосчастная») был напечатан в 1890, кажется, году в «Вестнике Европы». Я писала романы, заглавий которых даже не помню, и печаталась во всех, приблизительно, журналах, тогда существовавших, больших и маленьких. С благодарностью вспоминаю покойного Шеллера, столь доброго и нежного к начинающим писателям.

Замечу, что европейское движение «декаданса» не оказало на меня влияния. Французскими поэтами я никогда не увлекалась и в 90-х годах мало их читала. Меня занимало, собственно, не декадентство, а проблема индивидуализма и все к ней относящиеся вопросы. Литературу я любила нежно и ревниво, но никогда не «обожествляла» ее: ведь не человек для нее, а она для человека.

То «двойственное» мирозерцание, которое в конце 90-х годов переживал Мережковский («небо вверху – небо внизу», роман Л. да Винчи), никогда не было моим. Помню, что в этот период мы особенно горячо спорили и ссорились, так как я не могла принять «двойственности», но не умела определить, почему именно с нею не примиряюсь.

Могу еще сказать, что полосы абсолютной безрелигиозности у меня не было вовсе. Зеленую детскую «бабушкину лампадку» скоро, конечно, заслонила жизнь. Но жизнь, становившая меня постоянно с тайной смерти, с тайной Личности, с тайной прекрасного, не могла перевести души в ту плоскость, где не зажигаются никакие «лампадки».

Наиболее яркими событиями моей (и «нашей») жизни последних лет я считаю устройство первых Религиозно-философских собраний (1901–1902 гг.), затем издание журнала «Новый Путь» (1902–1904 гг.), внутреннее переживание событий 1905 года и затем совместный наш с Д. В. Filosoфoвым отъезд за границу, в Париж, где мы прожили больше трех лет.

Там издан был нами сборник на французском языке; из четырех статей мне принадлежали две: «О насилии» и «В чем сила самодержавия».

В них я пыталась высказать, еще кратко, еще почти намеками, некоторые из мыслей, меня очень занимавших и важных для общего строя моего мирозерцания. Эти частные мысли впоследствии превосходно были поддержаны, развиты и дополнены более талантливыми друзьями моими, главным образом, Д. С. Мережковским, – даже как бы пересотворены им.

По совести должна сказать, что никогда не отрицала я влияния Мережковского на меня уже потому, что сознательно шла этому влиянию навстречу, – но совершенно так же, как он шел навстречу моему. Из этой встречаемости нередко рождалось новое, мысль или понимание, которые уже не принадлежали ни ему, ни мне, может быть, – «нам».

Так же, впрочем, шла я, шли мы, насколько умели, навстречу «влиянию» нашего друга Д. В. Filosoфoва и всех близких, о помощи которых я вспоминаю с большой любовью.

О себе лично писать и говорить почти нельзя. А судить себя, оценить себя в литературном или каком-либо ином отношении – нельзя совсем. Это дело других. Скажу только, что сама я придаю значение очень немногим из моих слов, писаний, дел и мыслей. Есть три-четыре строчки стихов: «...хочу того, чего нет на свете...»; «...в туманные дни – слабого брата утешь, пожалей, обмани...»; «Надо всякую чашу пить до дна...»; «Кем не владеет Бог – владеет Рок...»; «...это он не дал мне – быть...» (о женщине). Если есть другие – не помню. Эти помню.

Вспоминаю еще жизненно-удачную мысль мою о нужности Религиозно-философских собраний, – наш журнал «Новый Путь»; вспоминаю мои слова «нельзя и надо» (смутная, но краткая и для меня ясная формула) по вопросу «насилия». Важна еще была мне мысль «о власти единого над многими», о самом принципе единовластия, вечном, общем, антирелигиозном принципе человека-героя, человека-хозяина...

Центр же, сущность коренного мирозерцания, к которому привел меня последовательный путь, – невыразима «только в словах». Схематически, отчасти символически, сущность эта представляется в виде всеобъемлющего мирового Треугольника, в виде постоянного соприсутствия трех Начал, неразделимых и неслиянных, всегда трех – и всегда составляющих Одно.

Воплощение этого мирозерцания в словах и, главное, в *жизни* — необходимо, и оно будет. Не под силу нам – сделают другие. Это все равно, – лишь бы было.

1914

«Точно внешние пути на мне всегда»

Надо коснуться прошлого.

В 15 лет, на даче под Москвою, влюбление в хозяйского сына, красивого рыжебородого магистра (чего?). Впрочем, я о взаимности не мечтала, а хотела, чтоб он влюбился в Анету. При свете зеленой лампадки (я спала с бабушкой) я глядела на свою тонкую-тонкую детскую руку с узким золотым браслетом и ужасно чему-то радовалась, хотя уже боялась греха. Потом? Не помню. Долго ничего. Но такой во мне бес сидел, что всем казалось, что я со всеми кокетничаю, а и не с кем было, и я ничего не думала. (Наивность белая до 20 лет.)

Пропускаю всех тифлисских «женихов», все, где *только* тщеславие, примитивное, которое я уж потом стала маскировать перед собою, называя «желанием власти над людьми». В 18 лет, в Тифлисе, настоящая любовь – Jégôte. Он – молод, добр, наивно-фатоват, неумен, очень красив, музыкант, смертельно болен. Похож на Христа на нестаром образе. Ни разу даже руки моей не поцеловал. Хотя я ему очень нравилась – знаю это теперь, а тогда ничего не видала. Первая душевная мука. Кажется, я думала: «Ах, если б выйти за него замуж! Тогда можно его поцеловать». Мы, однако, расстались. Через три месяца, он, действительно, умер, от чахотки. Эта моя любовь меня все-таки немного оскорбляла, я ведь и тогда знала, что он глуп.

Через год, следующей весной – Ваня. Ему 18 лет, мне тоже. Стройный, сильный мальчик, синие глаза, вьющиеся, льняные волосы. Неразвит, глуп, нежно-слаб. Отлично все понимала и любовь мою к нему презирала. Страшно влекло к нему. До ужаса. До проклятия. Первая поцеловала его, хотя думала, что поцелуй и есть – падение. Непонятно без обстановки, но это факт.

Относясь к себе как к уже погибшей девушке, я совершенно спокойно согласилась на его предложение (как он осмелел!) влезать ко мне каждую ночь в окно. (Мы жили в одноэтажном доме на тихой, пустой улице, напротив был сад.) Почему же и не влезать? Я ждала его одетая (так естественно при моей наивности), мы садились на маленький диванчик и целовались. Не знаю, что он думал. Но не помню ничего, что бы меня тогда оскорбило, испугало или хоть удивило. Ничего не было. А вот я один раз его испугала. После одного поцелуя (уж не помню его) он отшатнулся и прошептал боязливо:

– Кто вас научил? Что это?

Встреча с Дмитрием Сергеевичем, сейчас же после Вани. Отдохновение от глупости. Но зато страх за себя, оскорбление собою – ведь он сильнее и умнее? Через 10 дней после знакомства – объяснение в любви и предложение. Чуть не ушла от ложного самолюбия. Но опомнилась. Как бы я его потеряла?..

С Минским тоже тщеславие, детскость, отвращение: «А я вас не люблю!» И при этом никакой серьезности, почти грубая (моя) глупость и стыд, и тошнота, и мука от всякого прикосновения даже к моему платью!

Но не гоню, вглядываюсь в чужую любовь (страсть), терплю эту мерзость протянутых ко мне рук и... ну, все говорить! горю странным огнем влюбленности в себя через него. О, как я была рада, когда вырвалась весной на Ривьеру, к Плещееву, из-под моих темных потолков.

(Плещеев – скучно, неважно.)

Зачем же я вечно иду к любви? Я не знаю; может быть, это все потому, что никто из них меня, в сущности, не любил? То есть любили, но даже не по своему росту. У Дмитрия Сергеевича тоже не такая, не «моя» любовь. Но хочу верить, что если кто-нибудь полюбит меня вполне, и я это почувствую, полюбит «чудесно»...

«Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например..»

Минский, после всех разрывов, опять около меня. А я даже и в себя через него больше не влюблена. Держу потому, что другие находят его замечательным, тоже за цветы и духи. В бессильности закрываю глаза на грязь его взоров.

Червинский – другое.

После первого, полуслучайного поцелуя в дверях – я ужасно хорошо влюбилась. Было темно, я провожала Минского в третьем часу. От него недурно пахло, духами и табаком. (Душиться, говорят, дурной тон, но я люблю.)

Скользнула щекой вниз по его лицу и встретила с его нежными и молодыми губами.

Я дурно спала и улыбалась во сне.

Вот и отлично бы, а я не удовлетворялась. Как я знаю, что он ничтожен? А если нет? Если может не флирт – а любовь? Нет, не могу флирта. Стыжусь.

Он сказал мне раз, тоже в дверях: «Зина, пришло большое...» Нет, не верю. Не влюблена в его любовь.

Господи, как я люблю какую-то любовь. Свою, чужую – ничего не знаю.

Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли. Верю, но знаю, что чуда нет и не будет. Сегодня сижу и плачу целый вечер. Но теперь довольно. Я потому плакала, что Червинский написал несколько нежно-милых строк, а они так не шли к моему настроению, точно их офицер писал. Да и офицер их не написал бы, если б любил.

Хочу того, чего не бывает.

Хочу освобождения...

Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но как любят здоровье и жизнь.

А я хочу... Я даже определить словами моего чуда не могу.

Не буду писать Червинскому. Слишком безнадежно. Я останусь одна со своим безумием.

Все наперекор себе, все наизнанку, боюсь грубого, отвратительного, некрасивого – а тут все грубо и некрасиво. Отдать свою душу не тому, чему хочешь отдать, – а чему не хочешь, вот где беспредельная гордость и власть.

И только для себя, потому что ведь никто не узнает, чем это было для меня. Я буду для других только одна из многих самоотверженных женщин. Любвеобильное, альтруистическое, женское сердце... Господи! Нет. Я сумасшедшая...

У меня много тоскливой, туманной нежности... Я так редко нежна...

Опять этот Минский, обедает у нас, ерзает по мне ревниво жадными глазами, лезет ко мне... Не могу. И не могу не мочь.

Я улыбаюсь от злости.

У Репина было отвратительно скучно. Те, Шишкин, Куинджи, Манасеин, Прахов, Тарханов – старье, идола глупости. Тромбон – Стасов, Гинцбург, рожи-дамы...

Нет жизни, нет культуры.

Что бы сделать с собой?..

Нет красивых и чистых отношений между людьми (разве только духовными). Нет чуда, и горько мне, и все в темноте...

Я написала Червинскому письмо. Я сказала все, что думала. И как переменялись мои мысли. Я говорила, что надо проститься, надо оборвать отношения сразу.

Просила прийти вечером, 17-го марта (ровно 4 месяца). Когда получила в постели записку с одним словом: «приду» (я не хотела других слов) – мне стало так жаль себя, что расплакалась. Но потом стыдно сделалось самой.

Плохо спала. Рано проснулась. Целый день ходила. Вечером поехала во Французский театр. И когда вернулась – была измучена и физически, и нравственно.

Он ждал меня. А я ничего не чувствовала, кроме досады.

Я знала, что мы расстаемся серьезно. Но теперь даже мне хуже, чем тогда.

Мучительный вечер! Этого человека я не понимаю. Не понимаю, любит он меня или нет. И он меня определенно не понимает.

(Например, он совершенно не понимает, что это не плохо, что я ему никогда не говорю «люблю». Чудесной, последней любви нет; так наиболее близкая к ней – неразделенная, т. е. не одинаковая, а разная с обеих сторон. Если я полюблю кого-нибудь *сама*; и не буду знать, любит ли он, – я все сделаю, чтоб и не знать, до конца. А если мне будет казаться... не захочу, убью его любовь во имя моей. Ведь все равно он не сможет *так*, как я. Вздор! Если полюблю – поверю, что сможет. Вера неотделима от любви. Да пусть. Поверю, а действовать стану по знанию, а не по вере...) Господи, дай мне то, чего мне надо!

Ты это знаешь лучше меня. Вся душа моя открыта, и Ты видишь, она страдает. Я не скрываю, что хочу много. Боже, дай мне много. То, подлое во мне, что, я слышу, шевелится – ведь Ты же дал мне. Ну, прости, если я виновата, и дай мне то, чего я хочу. Мне страшно рассердить Бога моими жалобами. И еще мне стыдно... Неужели это все – от жалкой причины отъезда Червинского?

Два слова о Минском. Я о нем здесь забыла. Это – другой человек. Что с ним? Он или так любит меня, что имеет силу, или вообще имеет силу. Если б он всегда был такой! И мое отношение к нему меняется. Ни отвращения, ни злобы.

Такая боль, что от нее слезы выступают на глаза, и она длится, и от продолготы боли теряешь сознание времени.

Не раненое ли это самолюбие? Не от самой ли боли и боль?

Я – и Червинский!

Жесткая боль, тесная боль, горячая боль. Так разве страдают от любви? Червинский прислал письмо из Венеции. Не распечатала его. Отдам ему. Вижу в письме на свет веточку ландышей и несколько слов: «Брожу растерянный, тоскующий... Какое было бы... Умоляю одну строчку... в Рим... Не могу ничего не знать о вас...»

Бедная веточка, бедные слова! Нет любви, нет ни у кого резкого, сильного, громового слова. О, если бы я любила!..

Успокой, Господи, мое сердце.

К лету я успокоилась и забыла о Червинском. Мы переехали в Лугу.

Я скучала, но у меня рождались новые, страшные мысли о свободе... Должно быть, не очень они были еще сильны тогда – бесплодные мысли!

С Минским я кончила тогда же, весною. Тоже как-то трусливо кончила, сама к нему ходила в Пале-Рояль, жалела, а потом забежала вперед и писала письма о разрыве. На последнее, решительное, он не ответил и уехал. Больше ничего о нем не знаю.

Зачем Червинский приехал к нам в Лугу? К маме? Но он мог бы подождать до осени. Не знаю.

Приехал в день нашего (меня и Дмитрия Сергеевича) отъезда по делам в СПб.

Я все-таки волновалась, укладывая чемоданчик. Цвела сирень, я чувствовала себя хорошенькой и свежей и думала: «А ведь он любит меня еще!» Я приходила и уходила, звеня ключами. Он сидел в столовой, черный, располневший, бритый...

В Петербурге он должен зайти ко мне (я просила).

Он пришел. Белый вечер, пустая квартира, Дмитрий Сергеевич, брат Николай.

– Я на минуту, – сказал Червинский, входя, – я занят.

Время шло, было неловко, но я вызвала его в другую комнату.

– Вот ваше письмо, я его не читала. Возвратите мне мое, последнее.

Он схватил бедное письмо, с той веточкой ландышей, и злобно разорвал его.

– Теперь я знаю, вы не могли ответить, вы не знали, как ответ мне был нужен. На это письмо нельзя было не ответить. Ваше я возвращу. Тогда я не мог...

– А теперь...

– Теперь оно мне больше не нужно...

Я сделалась кротка и печальна. Разве я не предупреждала его честно, что не буду отвечать на письма? Я говорила о моих «мечтах», о боли... У меня почти нет враждебности к нему... Прежнее чувство неприкосновенно, все, что было... Разве можно изменяться? Мне нравилась моя роль – *résignée*. Не знаю, где кончалась искренность и начиналась ложь. Я волновалась.

Он ходил по комнате, желтый, мрачный.

– Вы бросаете другой свет... Но моя враждебность создавалась постепенно... Я так работал над собой... А теперь – кончим эту аудиенцию. Все сказано. (Это он – мне сказал, а я пишу).

Мы еще пили чай при белом свете. Я уже не могла выйти из роли покорной страдальцы. Я звала его в Лугу.

Уезжая, я оставила ему письмо. Зачем? О, эти мои письма! О, как они меня жгут, каждое, даже невинное, не содержанием, а самим фактом!.. Люблю свои письма, ценю их – и отсылаю, точно маленьких, беспомощных детей под холодные, непонимающие взоры. Я никогда не лгу в письмах. Никто не знает, какой кусок мяса – мои письма! Какой редкий дар! Да, редкий. Пусть они худы – даю, что имею, с болью сердца, с верой в слова. Из самолюбия писем не пишу, но после они обращаются на мое самолюбие, и я это знаю, и жертвую самолюбием – слову.

И в письме была правда, опять старая правда, только без надежд. Господи, прости меня за этих бедных деток, с которыми я так жестока порою! Устала.

Он приехал через месяц.

Я много писала в этот месяц, а главное, много думала. Мысли меня могут пополам разломить, если очень яркие. До Червинского они не касаются.

Но – факты.

Он приехал, я очень взволновалась, все забыла, кроме опять мелкого самолюбия, и сразу попала в покорный тон.

Он был довольно холоден и крайне равнодушен. Вечером я затащила (именно затащила) его к себе.

Я говорила опять о прошлом, он отвечал неохотно. О том, что он разлюбил – я упомянула вскользь, как о конченном деле; но сама думала: не может быть, ведь осталось же хоть что-нибудь.

То же было и на другой день. Только я была некрасивее от слабости и злобы (я ужасно некрасива, когда слаба и зла, и знаю это, и страдаю, и еще хуже тогда).

Я обещала ему отдать все его письма. Он точно обрадовался. После завтрака мы остались одни.

– Пойдемте гулять, – сказала я.

Помню свою батистовую кофточку, увядшую розу, белое покрывало и зонтик с большим шелковым бантом... Я опять говорила, мы сели на скамейку. Вдруг я заметила, что он не слушает. Что-то такое тупое было в его лице, что я испугалась. И, прервав себя, спросила его:

– О чем вы думаете?

– О чем я думаю? – повторил он машинально. – Так. Ни о чем. О деревне думаю.

– О какой деревне? – спросила я почти с ужасом.

– Так, о деревне. Я скоро с ума сойду, – прибавил он, помолчав, с прежней безучастностью.

Замолчала и я.

Солнце сквозь ветви пятнами падало на его неподвижное лицо, на коричневый котелок, на скоробившийся пристежной воротничок. Душу мою ело чувство без названия. Ужас? Стыд? Отчаяние унижения? Не знаю...

Минский в городе... Теперь мне все равно. Я жалею его. Я пожелала ему быть свободным и радостно одиноким, это единственное счастье. Только он этого не поймет.

Мысли о Свободе не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от – судьбы... Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя.

Я думаю, я недолго буду жить, потому что, несмотря на все мое напряжение воли, жизнь все-таки непереносно меня оскорбляет. Говорю без определенных фактов, их, собственно, нет. Боль оскорбления чем глубже, тем отвратительнее, она похожа на тошноту, которая должна быть в аду. Моя душа без покровов, пыль садится на нее, сор, царапает ее все малое, невидимое, а я, желая снять соринку, расширяю рану и умираю, ибо не умею (еще) не страдать. Подумаешь, какая тонкость! Ах, даром поэты меня отпевают. Пошло и сентиментально пишу. И вздор.

Господь даст мне силу недетскую, даст силу быть, как Он – одним. Свобода, ты – самое прекрасное из моих мыслей. Убью боль оскорблений, съем, сожгу свою душу. Тогда смогу выйти из пепла неуязвимой и сильной. Будет минута перед смертью, когда...

Я больна, кажется, серьезно. Может быть, мы поедем за границу. Надо ехать. Мои мысли так меня переломали. В них есть что-то смертельное. В моей этой «свободе». Боюсь, не хочу думать. Верно ли, если это смерть? А если и верно, то я для смерти еще слаба. Я еще живая, я хочу жить. Прости мне, Господи! Если я не должна хотеть жить.

И одиночество в мыслях меня тоже ломает. А они – должны быть одинокими. Письмо от Максима Ковалевского! Поедем, верно, на Ривьеру.

«Никогда не приходила мне в голову мысль о любви...»

Что же это было? Пользование чужой любовью как орудием для приобретения власти над человеческой душой? Созидание любви в другом во имя красоты? Вероятно, все вместе. Пойдем сначала. Факты.

Я всегда радовалась его хорошему ко мне отношению. Мы были далеки – но я знала, что он ко мне – хорош. Потому радовалась, что думала, что это не «ради моих прекрасных глаз», а «ради моего прекрасного ума». Я возобновила знакомство (этой осенью) отчасти случайно, отчасти потому, что так все складывалось, я только не сопротивлялась. И дружба мне нужна была, мне было холодно. А Флексер всегда (и почему? почему?) казался мне человеком, которому все можно сказать и который все поймет. Я знала, что это не так, а между тем упрямая и бессмысленная человеческая слабость меня баюкала другим.

Я думала, что это человек – среднего рода. Иначе смотреть на него не могла. (Забыла сказать, что положение его при журнале тоже играло некоторую роль в желании моем возобновить «дружбу». Какую, большую или малую – не знаю, но хочу быть до конца добросовестной.) И вот – мы стали сближаться. Раз я даже сказала ему, что считаю его среднего рода... к моему изумлению, он обиделся, и я поспешила его замять. Вскоре, однако, я поймала себя на кокетстве с ним. С ним!..

Мы много говорили о любви: само вышло. У меня были всякие мысли: уже помышляла о власти. И мне хотелось хоть видеть чистую любовь, без *определенных* желаний. Но все-таки я не кокетничала (или страшно мало), я бы призналась. Два-три задушевных вечера – и вот странные письма, которые меня взволновали (его письма, я почти не писала). Странно, но так: могу писать письма только к человеку, с которым чувствую телесную нить, *мою*. Говорю о хороших письмах, о тех моих «детях», в которых верю. (Телесная *нить* – это вовсе не какая-нибудь телесная связь, одно может без другого, наоборот). Но «сухой огонь» Флексера неотразимо пленял меня. Слово «любовь» незаметно вошло в наш обиход. Он говорил «слово» – я старалась объяснить ему мою истинную привязанность, мучилась, когда он не понимал, и тогда просто молчала. Иногда меня заражала его безумная любовь, неопытная и страстная, – он сам говорил, что она – страстная, но все повторял, что сам не хочет от меня ничего, не ради моих мыслей, а ради своих, которые тождественны. И я иногда бывала влюблена в эту его любовь.

Он обещал быть чистым всю жизнь, как я. Не скрываю, что это меня побеждало. Это толкало меня вперед...

Живет ли тот, кого я могла бы хотеть любить? Нет, я думаю. И меня нельзя любить. Все обман.

Летом я иногда скучала о Флексере, когда он уезжал. С водворением в городе – стена перед глазами. Резюмируем причины.

Я вижу, что больше того, что я с ним достигла, – я не достигну. «Чудесной» любви он не вместит, власти особенной, яркой – я не имею; не в моем характере действовать из-за каждой мелочи, как упорная капля на камень; я люблю все быстрое и ослепительное, а не верное подпольное средство. Он уступает мне во всем – но тогда, когда я устану, брошу, забуду, перестану желать уступки. Я не хитрая, а с ним нужна хитрость. Затем: он человек антихудожественный, не тонкий, мне во всем далекий, чуждый всякой красоты и моему Богу. (Ведь даже и в прямом смысле чуждый моему Богу Христу. Я для него – «гойка». И меня

оскорбляет, когда он говорит о Христе. Ведь во мне «зеленая лампадка», «житие святых», бабушка, заутреня, ведь это все *было* в темноте прошлого, это – *мое*.)

Я привычливая, но я холодно думаю о разрыве. Чужой, и теперь часто противный человек...

Не хочу никакой любви больше. Это валанданье мне надоело и утомительно.

Я – виновата. Не буду же просить подставить мне лестницу к облакам, раз у меня нет крыльев. Аминь.

Я написала стихи «Иди за мной», где говорится о лилиях. Лилии были мне присланы Венгеровой, т. е. Минским.

Стихи я всегда пишу, как молюсь, и никогда не посвящаю их в душе никаким земным отношениям, никакому человеку.

Но когда я кончила, я радовалась, что подойдет к Флексеру и, может быть, заденет и Минского. Стихи были напечатаны. Тотчас же я получила букет красных лилий от Минского и длинное письмо, где он явно намекал на Флексера, говорил, что «чужие люди нас разлучают», что я «умираю среди них», а он «единственно близкий мне человек, умирает вдали»...

Письмо меня искренно возмутило. Мы с Флексером написали отличный ответ: «Николай Максимович, наше знакомство прекратилось потому, что оно мне не нужно...» Ведь действительно он мне не нужен.

Но интереснее всего то, что я, через два дня, послала Минскому букет желтых хризантем. Я сделала это потому, что нелепо и глупо было это сделать, слишком невозможно...

Мне жалко Флексера... И всегда я с ним оставалась чистой, холодной (о, если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне и которую я даже не понимаю, ибо я ведь и при сладострастии, при всей чувственности – *не хочу* определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю). Я умру, ничего не поняв. Я принадлежу себе. Я своя и Божья.

Разрыв с Флексером совершился, наконец, этой весной.

Тянулась ужасная зима (96–97 гг.), ужасная по уродливым и грубым ссорам, глупо грубым и уродливым примирениям. (Не от меня шли примирения)...

Весной появился доктор. Не знаю, зачем он пришел. Кажется, чтоб друга своего со мною познакомить, безразличного какого-то юриста в летах. Это, вместе со страшными литературными недоразумениями (я отказалась печататься в «Северном вестнике» из-за уродства Флексеровых статей) – послужило толчком к разрыву. Еще совсем весной мы делали вид, что в дружбе... но мы были уже обозленные враги.

Я обманывала его, стараясь избавиться от него каждое после-обед. Обманывала, выдавая с Венгеровой в женском обществе и потом переписываясь с нею, обманывала, говоря ему, и почти не слыша их, нежные слова (мало слов!) и принимая доктора, который мне совершенно не нужен.

Однажды Флексер, проведя несколько часов, в белый вечер, у моего подъезда, – «выследил» доктора! Это меня взорвало. Думаю, и сам Флексер уж тяготился нашими отношениями, тут на сцене история с его поездкой в Берлин по делам, причем он говорил, что если я не хочу – но тоже неуверенно, с боязнью, что он останется.

Светлая ночь 17-го мая. Еленинский сад. На душе – пыль и великое томление. Мы говорили грубо и гадко.

– Так вы рвете со мною? Это бесповоротно?

– Я – не рву иначе, я вам говорила.

– Вы... вы раскаетесь. Я такой человек, который никогда не будет в тени.

– Очень рада за вас. Сожалею, что не могу сказать этого про себя.

Мы встали и пошли. Я должна была быть в 101/2 у Шершевского на Сергиевской. Ночь была теплая, мутно-светлая, пыльная и чуждая. Я убедилась в разрыве и была, как всегда, спокойна перед его психопатией.

У двери Шершевского он сказал:

– Так мы расстаемся?

– Так мы расстаемся? – повторила я.

– Да... не знаю... Ничего не знаю...

– Но ведь я же вас очень люблю...

И, верно, не особенно много было любви в моем лице и голосе, потому что весь он съежился, точно ссохся сразу, и посмотрел на меня почти ненавистническими, растерянными глазами. Я почему-то подумала:

– Боже мой! Сколько раз эти выпуклые глаза с красными веками плакали передо мной от злобы и жалкого себялюбия жалкими слезами! И он считал их за слезы любви!

Я повернулась и вошла в подъезд. С тех пор я его больше не видала.

Оказывается – он ждал меня на другой день! Недурно! Через день было письмо. Потом еще и еще. Одно было хорошее – а следующее! «Пишите мне в Берлин, поймите вопль моей души, и я – я вернусь к вам!»

Это он – мне! Я плакала злыми, подлыми слезами от отвращения к себе за то, что я *могу* этим так оскорбиться.

На другой день после этих слез – неистовая радость охватила меня. Нет боли, которой я боялась! Никакой боли – и я свободна! Радость была постоянная, легкая, светлая, почти счастье, как в детстве на Пасхе.

Я уехала в деревню. Тишина и ароматы обняли меня... И так я жила, с этими запахами и светами, радуясь не думать, только – свободная.

Там был сын помещицы, купчик, не кончивший военного училища, примитивный, но обожающий свои поля и леса, и эту быструю езду: он ездил каждый день со мною, вместе мы видели разные светы неба, и туман полей, и далекие полосы дождя. Какой он был? Кажется, красивый, но толстый, большой, хотя и не грузный, да я не видела лица – лицо природы. Я не судила его, он был часть всего, как и я – равный мне в этом...

Господи! Это все неловкие слова, по ним нельзя понять, что такое для меня, после всей жизни, значили слова: признать себя обыкновенной женщиной, сделать себя навсегда в любви, как все. Около этой мысли – какой сонм страхов, презрений, привычек...

Я была все-таки в безумии, решаясь подчиниться желанию тела. И ничего не узнала. Как это отделять так тело от души? А если тело – *без души* не пожелало? Вот и опять все неизвестно.

Я стала спокойнее, свободно-покорнее и тверже. Еще прошлой осенью – какой надрыв – мой «подвиг»! Конечно, ошибка, но не каюсь, и она была нужна.

Моя нежность, мое чувство ответственности, мое желание силы в другом – остались; но веры нет, а потому разлад души и некоторое недоумелое стояние. Что же, мыслям изменить? Отказаться от последних желаний тела и души во имя того, что есть и что не нравится? Этой жертвы просит моя человеческая жалость к себе, моя нежность, моя слабость. Но смею ли?

Я даже не знаю, все ли я сделала, что могла. Если не все, то – доколе, о Господи? Ведь могу перейти границу своих сил и сама упасть в яму. Опять Таормина, Рим, Флоренция. И как все различно! Иногда я так была слаба, так хотела не того, что есть, что заставляла себя не думать, не видеть. Мне стыдно было видеть, стыдно за свою неумирающую нежность – без веры...

Жестокость – не крепость, а полуслабость. Жестокой легче быть, чем твердой и мудрой. Неужели я с... кончу жестокостью – а не трудной и тихой мудростью – если решу?

А все-таки не знаю, нужна ли плоть для сладострастия. Для страсти, т. е. для возвращения в жизнь – да (дети). А сладострастие – одно идет до конца...

Весь смысл моего поцелуя – то, что он не ступень к той форме любви... Намек на возможность. Это – мысль, или чувство, для которого еще нет слов. Не то! Не то! Но знаю: можно углубить пропасть. Я не могу – пусть! Но будет. Можно. До небес. До Бога. До Христа.

Мне стало страшно. Как говорю? Здесь, в этой «яме»... Да в том-то и дело, что все изменилось и теперь место, где говорю о своем теле, о сладострастии, о поле, об огне влюбленности – для меня, для моего сознания, уже не проклято, не яма.

Не отрицаю своей мерзости, своего ничтожества. Идеал Мадонны – для меня не полный идеал. Я теряюсь, как человек, из-под которого выдернули стул. Только в одном, единственном, углу моей комнаты – светло. И это – мое, и это последнее, но хочу, чтоб оттуда на всю комнату был свет. И будет.

Любить меня – нельзя...

Я ни к кому не прихожусь. Рассуждаю, а в сердце зверь и ест мое сердце. Не люблю никого, когда у меня боль. Не люблю – но всех жалею. Жалко и Философова, который в такой тесной теме, жалко бедных людей, которые приходят, надеясь, – и ничего не получают, ни от себя, ни от нас. Их, впрочем, меньше жалко (меньше всех Гиппиуса) – чем Философова. Они как-то больше ждать могут; а ему бы сейчас надо. Да вот нет. Не могу ему помочь, он меня не любит и опасается.

Именно *опасение* у него (а не страх), мелкое, примитивное, житейское. Я для него, в сущности, декадентская дама, подозрительная интриганка, а опасается он меня не более, чем сороконожки. Да, может, это все и есть во мне, но жаль, что он лишь на это во мне реагирует. Жаль для него. А может, я к нему несправедлива? Может, у меня раздражение? Не хочу раздражительности, не знаю ничего наверное. Только досадно, что надо жалеть. Там он пропадет, ну конечно. Для меня все ясно. Надо сделать, что могу. У меня были такие мысли – да что я о Философове? Ни мысли, ни *эти* планы не для тетради «амура». Впрочем, ведь принцип ее изменен. Я еще не привыкла. И пока – ничего не надо. И сегодня – такое голое, такое слишком личное во мне страдание.

Переживем, решим – в безмолвии.

«Это я в яму захотела»

Я сделана для выдерживания огненных жал, а не слепого, тупого, упорного душения. Но так надо. Малодушно, изменно, не нравится мне закрывание глаз, самоослабление для Главного. Это вопрос – быть ли Главному, и вопрос мой, потому что – быть «ему» или не быть – в моих руках, это знаю.

Господи, как хочется смириться, отдаться течению волн, не желать, а только верить, что другие больше тебя желают, не идти – а только чтоб тебя несли! Сказать себе: ну что я могу? Это самообольщение, гордыня! Пусть другие, они сильнее. А я слаба. Все равно ничего не будет, что бы я ни делала. При чем – я? Моя воля?

Да ведь это и правда. Люди меня не любят, не верят, боятся, – я не могу им помочь, а они – мне. Что же я напрасно ломаю себя – или ломаюсь? Ведь это смешно...

Вздор. Грех. Стыд. Ложь. Лучше молчать, чем так говорить.

Это я в яму захотела.

Страшно мне, как всем, яма соблазнительна. Так мягко лежать... В браке все-таки сильнейший духом ведет за собою слабейшего, а там, где брачное извращение – дух обмирает у сильнейшего и над ним властвует слабый и пошлый. На это обмирание и безволие духа жутко смотреть, но нельзя не видеть. Тут какая-то тайна. Надо над этим подумать.

Я думаю, что никогда не решу чувством, да это и невозможно!

Но надо поступать так, как будто решила. Потому что ведь я шага не могу сделать, ни одного! В себя веры не будет – ну и силы не будет.

А теперь довольно. Опять безмолвие. Время бежит, все равно недолго.

Все равно что-нибудь будет.

Все-таки мне кажется порою, что даже и помимо... я ничего не могу, никому из людей не могу помочь. Ни они мне. У них в корне другие желания. На примере пола будет яснее. То есть любви.

Люди хотят Бога для оправдания существующего, а я хочу Бога для искания еще несуществующего (вероятно). Людям совсем бы хорошо было с их страстью, в их формах, с их любовницами и любовниками; да только беспокойно – не грех ли? Они зовут Бога, чтобы Он пришел к ним, где они, и сказал: «Нет, не грех; а коли и грех – прощу, за то, что вспомнили Меня и позвали. Не беспокойтесь». А мне куда звать Бога, я в путешествии. Нет подходящего мне дома, в котором хотела бы *вечно* жить; я сама хочу идти к Богу; там, впереди, ближе к Нему, есть, верю, лучшие дома – их хочу. И оправдания мне ни для чего не нужно. И это абсурд – оправдание. Оправдания настоящему хочешь, только когда намерен длить его, неизменно; значит – оправдания стоянию? Его не может быть. А оправдания прошлому – уже есть, если есть хотенье движения к изменности. Но это – как бы «прощение». Значит, оправдания вообще никакого нет, и слова этого нет. Гиппиус все толкует о «любви» к жизни. Детство. Не о чем толковать. Ну *конечно*, мы любим жизнь. Даже стыдно об этом, как стыдно говорить, убеждать, что свою мать любишь. Не русский Гиппиус, не стыдливый. Любим, любим, ведь это же исходная точка, – но ведь это именно *исходная точка*!

Д. С. тоже как бы в путешествии, и хочет идти, но ведь он ничего в себе не знает, и не смотрит, а уж в «специальном»-то своем смысле – совсем ничего не знает! Даже я о нем ничего не знаю. То так верю – то иначе. То есть словам всем верю, а его существа иногда не угадываю. Закрыто оно – и для него. Но сила ли это? Не слабость ли – мои психологии? А уж Философов-то, наверно, хочет для «оправдания»! Вся его неудовлетворенность только из этой точки. Впрочем, всякий человек – тайна. Может и так быть: желание оправдания лежит сверху и закрывает другие желания. Если исполнить это верхнее желание, или как бы исполнить (чтоб самому человеку почудилось, что оно исполнилось) – то оно и растает,

и откроются другие желания – ежели они есть. (Все-таки, думаю, не у всех они есть.) О Философове – то знаю, то не знаю, есть ли; но возможно, что есть, поэтому я так хотела бы зажечь свечку около этого верхнего желания: пусть растет. Пусть ему будет «оправдание». А там посмотрим. Лицо Божье – все-таки Лицо Божье, даже если мы Его к себе зовем. Все-таки возможность спасения – для нас и для него. Да и люблю его.

Остальные мне дальше, непонятнее, *неприятнее*. Потому пойду прежде всего к Философову, если... да я все забыла! Если? Никуда не пойду и сама упаду, нет решения – нет ни свободы у меня, ни силы.

Главное – не ныть. Не размазывать своих «страданий». Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например. И у других, наверно, кашель. Не хочу жаловаться на... кашель.

Беда в том (или не беда?), что все во мне, как и в мире, так связано и спутано, что поневоле переходишь несуществующие границы, и с... порвать – вовсе уж не *так* больно; не правда ли? Порвать с тем, кого люблю меньше, для Того, Кого люблю больше, – да ведь это только естественно! Коли нельзя соединить – никого из двух не стану обманывать, а выберу, и ведь по *своему* желанию! Ну так о чем же? Моя Нежность – скажите пожалуйста! Ей ли помешать мне действовать согласно Главному желанию? И силы даже тут никакой не требуется...

Мне отныне предстоит путь совершенного, как замкнутый круг, аскетизма. Я знаю соединенным прозрением моего тела и духа, что путь этот – неправда. Глубокое знание, что идешь неправедным путем – несомненно, тихо, но верно – обессилит меня. Не дойду до конца, не дам свою меру. Это уже теперь, когда думаю о будущем, давит меня. А теперь еще так много живой силы во мне. Я уйду в дух – непременно – и дух разлетится, как легкий пар. О, я не за себя страдаю! Мне себя не жаль. Мне жаль То, чему я плохо послужу.

Выбрала бы и другой путь – да нет другого. Даже и говорить не стоит, и так видно, что нет.

Иногда мне кажется, что есть, должны быть люди, похожие на меня, не удовлетворенные формами страсти, ни формами жизни, желающие идти, хотящие Бога не только в том, что есть, но в том, что будет. Так я думаю. А потом я смеюсь. Ну, есть. Да мне-то не легче. Ведь я его, такого человека, не встречу. А если встречу? Разве чтоб «в гроб сходя благословить». Ведь через несколько лет я буду старухой (обозленной прошлым, слабой старухой). И буду *знать*, что неверно жила. Да наконец, если теперь, сейчас встречу – разве поверю? И полюблю, так до конца буду молчать, от страха, что «не тот», и он, если похож на меня – так же будет молчать. Впрочем, нет. Ведь это может быть, это чудо, только в Третьем, а что он мне скажет – я не знаю. Его голоса я еще не слышала. И что я рассуждаю, опасаюсь, жалуясь? Будет так, как надо. Не моя воля. Не по моей воле течет во мне такая странная, такая живая кровь. Для чего-нибудь, кому-нибудь она нужна. И пусть же Он делает с нею, что хочет. И с силами, которые дал мне. Я только буду правдива. Грех только один – самозамаление. Вижу, как гибнут от него те, кто могли бы не только себя спасти, но и других. И вянут, вянут бедные цветы... Как им сказать? Как им помочь? Ведь и я не сильна, пока одна.

Зима. В самом начале 1902 года в моей жизни (во всей) случилось нечто – внутреннее, хотя фактическое и извне пришедшее, – что меня в одно и то же время и опустило, и подтянуло, – но и выбросило куда-то к людям, в толпу. А еще раньше этого я очутилась среди людей новой среды, к которым присматривалась все время с моей новой точки зрения (до чего далекой от «любвей»! И очень близкой к... любви; ну просто *нет*, я вижу, слов). Короче,

реальнее, уже. К нам в дом стали приходить священники, лавриты, профессора Духовной Академии, и между ними два, молодые, чаще других.

Из всех заметнее был Карташев, умный, странноватый, говорливый на Собораниях: сразу как будто из того лагеря перешедший в наш, в наши мысли. «Мысли!» Вот чего я не хочу здесь, а не обежишь, потому что если у меня было в это время что-нибудь в душе – то лишь они одни. И не выдернешь из последующего. Но буду их часть показывать, прилегающую к «узости».

Д. С. читал у нас в средней комнате свою статью о Гоголе и когда говорил о мертвом, узком, остром лице Гоголя – я вдруг увидела Карташева. Совсем такое же, похожее, лицо. Он сидел низко, на пуфе. Вскоре после того секретарь Собраний сказал мне: «Я сегодня просил Карташева заехать за вами (деньги нужно было собирать), но он отказался, говорит – еще ни с одной женщиной на улице никогда не был. Заеду я за вами». Смеется.

У меня мелькнула мысль: а ведь эти странные, некультурные и как будто жаждущие культуры люди – ведь они девственники! Они сохранили старое святое, не выбросили его на улицу, не променяли на несвятое – быть может, ожидая нового святого? Быть может, среди них есть... Ну и т. д. Вечером присмотрелась к нему и ближе коснулась – вообще – «мыслей». Что-то есть... Чего-то нет... Или не знаю? Осторожность...

Но тут наступил январь, и моя выброшенность во мне, жажда *сейчас* всех людей *во всем*. Другой профессор, Успенский моложе и весь не то теленок, не то ребенок – и «кутейник» с виду; но они у меня оба почему-то неотделимо бывали, чем-то (новостью среды?) слитые, но я на Успенского почти не обращала внимания, так, «второй».

Карташев бывал и отдельно, и я неудержимо говорила свое, торопясь дать ему что-то *внешнее*, ему недостающее (как мне казалось), чтобы он мог понимать мою, «декадентски» – отливающуюся, речь. Он – дикарь, скорее дать готовым весь наш путь, – искусство, литературу, форму жизни, мелочи жизни... Скорее, чтобы отсутствие не мешало нам сговориться о важном, – в нем, я думала, он там же, перед тем же (в его существе), перед чем я. Был в нем налет истерики – чуть-чуть. Он говорил, что был убежденным аскетом, до небоненавистничества, а теперь у него многое меняется. Я ему скорее хотела передать то мое осязанье «красоты», которое часть меня и моего, и всего, но ведь это – не окружающее меня реально-безобразное, ведь не старые, пыльные ковры, не рыночная, бедная мебель без ножек, даже не стихи Бальмонта, которые я ему (им) читала – но все-таки они и во всем, мгновеньями; в том, чтобы видеть собор утренней ночью, в одной из двух лилий на моем столе, в случайно купленной или подаренной Сологубом банке духов, в старом рисунке между бумагами, порою, может быть, в одной-единственной, на мгновение упавшей, складке моего платья... Но, увы! А его (их) прельстили равно: и дырявые ковры – и стихи из красной книжки, и чайный ликер – и мои мысли, вся моя внешняя «дешевизна», которой так много – и мое заветное, что я люблю в мире. Но это все было *новое* и казалось одинаково «прекрасным», без различия, уродство и красота. В одну кучу. И даже (теперь вижу) ковер закрывал цветок, и одни дырявые ковры и были, потому что они виднее. Меня они видели «прекрасной», но если бы я сама увидела свое отражение в их душах... Впрочем, это так понятно.

(Началась близость с того, что я у Розанова спросила Карташева, писал ли он когда-нибудь стихи, и он на другой день прислал мне ужасающие стихи десятилетнего лавочника, которые я послала назад, обстоятельно разбранив. Вскоре он стал писать прилично, но со страшными срывами в безграмотность и уродство!) Я думала, конечно, что «а вдруг он в меня влюбится?». И отвечала себе, что это и хорошо для него, пожалуй, влюбленность откроет для него сразу все, до чего без нее годами не дойти ему. Это, в связи с его «девственностью» (он мне сказал о ней как-то у камина, после обеда), и с девственностью, теперь, по его словам, не аскетическою, а примиряющею плоть и красу мира, – это все заставило меня, конечно, «кокетничать» с ним, давало какую-то возбужденную радость и стремительность,

жажду убедиться, что возможности мои и во мне. Что оно есть вообще. Это было главным образом, но так как душа сложнее, – то, конечно, и тени другого всего были, и тщеславия доля, самого примитивного, старинного, и всего... но это уж из добросовестности прибавляю. Еще меня трогала и влекла его нежная любовь ко Христу. Я не хотела знать (не сумела бы тогда увидеть), что это что-то – старая, неподвижная точка, осколок старой чаши, разбитой жизнью и «рацио», старая любовь к старому. Привычное. И привычное соединялось никак с непривычным, т. е. со мною, с моим.

Мы виделись и говорили. Когда бывали оба – я говорила больше с Успенским, но не видя его, или полувидя, а для Карташева. Я баловала их, я пыталась показать им *настоящее* красивое и заботливо создавала для них массу *подлинных* внешних мелочей, от густых деревьев ромашки в моей комнате до стихов Пушкина и Лермонтова (уже не Бальмонта), которые я им сама с любовью читала поздними вечерами. Я хотела и мечтала создать Карташеву такой новый мир, который был бы для его растущей души дождем, и она, не смятая, расцвела бы для... *всего* будущего, моего.

Не увлекаюсь ли я? Как разрисовала – себя! Э, все равно. К делу. Что он «влюблен» – это как то сказалось, или узналось, само собою. В письмах, должно быть. О «взаимностях» не было речи. Вообще все было как-то иначе, нежели прежде, ни на что не похоже. И это была моя радость. И все я приписывала чистоте. И о любви думала – наконец! Вижу глазами. Вот чего не хватало другим! Вот где моя мысль об «огненной чистоте»! Значит, «есть на свете», значит, мое мечтанье не *только* мое, *одной* меня! Вперед, вперед в этом!

Письма у него были очень хорошие, со срывами – но лишь противу-эстетическими, внешне. Я это прощала, ввиду его эстетической молодости. Подхожу к очень важному факту, к очень высокой точке в этой двойной истории.

Весна кончалась. Я рвалась в Заклинье, на старинную, красивую дачу, которую увидев полюбила за ее грустную прелесть. (Дачи вообще так оскорбительны! Эта – нет). И устала я «существовать». История, которую рассказываю, занимала едва ли одну пятую моей внутренней жизни тогда, несмотря на ее связанность со всем (для моего сознания).

Д. С. пригласил профессоров к нам на дачу. Они уезжали, перед каникулами, в Крым, но с радостью обещали приехать на три дня перед Крымом. И пятого июня приехали, а восьмого утром уехали.

Они приехали. Успенского я опять не заметила, да он и вел себя как отпущенный гимназист; бегал по лесу, резал палки и пел романсы и песни. А в Карташеве было что-то робкое, значительное и таинственное. Он был почти красив иногда, в белой войлочной шляпе, на широком крыльце, у кустов сирени. Или вечером – ночью, над водой, там, на старых мостках. И тонкий, немного надтреснутый тенор мне нравился, когда вдруг обвивал грубоватый, сильный и немзыкальный голос Успенского.

Но не тогда, а вечер на восьмое (утром рано они уезжали) хорошо пели. И *не* песни. Была бледная, ясная ночь. Мы сидели на крыльце в сад. Они на ступенях (и другой был тут), я наверху на кресле, перед ступенями, закрытая длинным белым вуалем (мы все носили, от комаров). Везде сирень, у всех сирень, в руках, на коленях, в волосах. Между озером и нами догорал костер. Над озером взошла розовая-розовая луна. Они пели «да исправится молитва моя». И так хорошо спели (т. е. так хорошо это было), что после «исправится» никто уже не хотел ничего. Хотелось тишины.

Наверху широкой внутренней лестницы, направо от моей двери – дверь в коридор, который мы называли «монастырским». Там было три «кельи», именно кельи, сводчатые, белые, с глубокими острыми окнами. В дальнюю я поместила Успенского, в ближнюю Карташова. Вечерами я их туда провожала.

И в этот вечер пошла. Втроем мы прошли к Успенскому, там я с ним простилась. Потом зашла в келью Карташева. Он сел на стул, я на широкий подоконник.

Занавеси не было, и в белой келье было чуть-чуть лишь сумерки.

– Как хорошо, – сказала я, обертываясь к белому, свежему небу. – Вы завтра уезжаете... Я думаю о том, что подарю вам на память.

– Мне не надо ничего, – проговорил он, не понимая. – Зачем дарить? Разве вы думаете, что я забуду...

Странно, что я так... робка во всех движениях. Точно внешние путы на мне всегда. Мне стоит величайших усилий воли то, что я считаю нужным, праведным и чего сама хочу. Это даже не робость. Это – какая-то тяжесть, узы тела, на теле; какое-то мировое, вековое, унаследованное отстранение себя от тела, оцепенелость тела, несвобода движений. Во всем, часто, с другими – внутри возникает непосредственное движение, естественное – и внутри же замирает, не проявившись. Это, я думаю, у многих. Это, я думаю, от векового проклятия всей «грешной плоти» во всем. Волны от столпничества.

– Ничего не надо? – сказала я, встав с подоконника. – Вы не знаете, что я хочу вам дать. И это хорошо, что хочу, и это надо.

Взяв его за голову, я поцеловала дрожащие, детские – и, может быть, недетские – губы. Он испугался, вскочил, потом упал вниз и обнял мои колени. И сказал вдруг три Слова, поразившие меня, которых я не ждала и которые были удивительны в тот момент по красоте, по неуловимой согласности с чем-то желанным и незабываемым. Он сказал:

– Помолитесь за меня...

И повторял:

– Помолитесь, помолитесь... я боюсь. Я вас люблю. Я боюсь, когда счастье такое большое.

Я наклонилась, и еще раз поцеловала его, и потом еще.

А потом я ушла, после каких-то недолгих речей, которых не помню, но в них не было теней.

Не помню ясно и что я думала. Моя громадная комната была полна серым, жемчужным светом ночи, в душе – туманность и правота! Правота! Вот это помню.

И правота моя, конечно, была не правотой. Я опять забыла: цветок не может расти в безвоздушном пространстве. Этому цветку необходим его воздух. И в воздухе – уже цветок. А я думала его взрастить *сначала*. И уж потом, как бы *через*... Вечная ошибка! Но несколько мгновений цветок может жить без воздуха. Несколько мгновений он и жил, подлинный... почти.

Я написала «почти» как-то невольно; думая – понимаю, почему «почти». Да потому что тут еще одного условия не было: равенства. У меня было сверху вниз, а у него снизу вверх. (Не странно ли, что и реально оно так было, фактически.) Он был влюблен – а я нет. Я волновалась, я была растрогана, он даже нравился мне, но я по совести не могу сказать, что была влюблена (как я умею). Спешу оговориться: я думаю, что в настоящей «влюбленности» (не внеатмосферной) есть еще тот плюс, что она вполне возможна *невзаимной*, просто только тот, кто не любит – ничего не получает, беднее; кто любит – получает много. Конечно, лучше, чтобы оба получали много, это ясно; и еще лучше, чтобы два «много» сливались, образуя одну «громадность» (при взаимности); я говорю только, что возможна и прекрасна и невзаимность. Ревность в *пространстве атмосферы* вряд ли мыслима; грусть о «громадном»), тихая печаль – да; но ведь все-таки остается «много». Вот ревность заатмосферная – но она уже вырастает во всеобъемлющую, она...

Так вот тогда мне было как-то обидно, что даже если у него «много» (хоть на мгновение) – то ведь я – бедна. Я – *для себя* тут ничего не получаю, кроме радости за него. Прикосновение его дрожащих губ было мне радостью и волнующе – но для него, за него! Это была не только духовная радость, и тело в ней участвовало, – но не кровь. (Не умею сказать! Досада какая! Забуду сама потом!)

Он уехал. Я долго не получала писем, потому что сама тотчас уехала на Волгу. (Нет, впрочем, одно письмо из вагона я получила в Петербурге. Очень хорошее, все так подтверждающее, все, как я думала.) Вернувшись в Заклинье – я нашла еще два-три, восторженных – и с курьезной постепенностью спадающих с тона. Налет мертвенности. Он сделался совсем явным в письмах из дома, а сам он писал, что дома впадает в какое-то небытие. Скоро совсем почти перестал писать, – но зато Успенский засыпал меня письмами, очень почтительно и детски-нежными (о любви не было)...

Осень. Мы еще на даче (конец августа). Карташев и Успенский вернулись в Спб., мы пригласили их к нам на 29, 30 и 31. Круглая белая зала так располагала к «празднику». И я решила сделать «раут». Я написала шутивную мистерию с прологом «Белый черт», которую мы все должны были разыграть. Шутивная, домашняя, – но мысль была *моя*, за нее держусь (напишу поэму). Мы приехали в Спб. (я и Д. С.) на несколько дней. Карташеву я написала, чтобы он пришел вечером сговориться точно. Пришел и Тернавцев. Карташев был робок, странен, мертвен. Не поняла его. Мертвен – явно; и влюблен – тоже явно. Накануне отъезда мы встретились на Литейной с Д. С., и я, узнав, что он идет в «Мир искусства», – пошла с ним. (Вот забавный случай в скобках!) В «Мире искусства» – никого, кроме живущего там Бакста, принадлежности туалета которого были раскиданы по запыленным комнатам. Неприфранченный Бакст был очень сконфужен нашим визитом. Однако дал нам чаю (была ли нянюшка?), потом мы вместе говорили по телефону с Пирожковым, к которому Д. С. и поехал, а я осталась, было едва 6 часов. Так, от лени сдвинуться со стула.

Менее всего ожидала, что неодетый Бакст вдруг станет говорить мне о своей «неис требимой нежности» и любви! Как странно! Теперь, опять...

– Разве вы не видели, что сейчас со мной было у телефона? (ничего я не видела и т. д.)

«Нежность» перешла в бурность, оставаясь «нежностью». Вижу, надо уходить. Опять объяснения, оборот в прошлое... Не надо! Мне все равно, – но не надо этого оборота.

Пытаюсь уходить. Длинное круговое путешествие из столовой в переднюю. «Вы не забудете?» – «Нет, обещаю вам, что забуду, и это хорошо. Право, ничего и не было».

Вечером он был у нас, грустный и нежный, как больной кот. Интересно последующее (весьма короткое): письма в Заклинье, на которые я отвечала; очень «пластические» письма, ничего в своем роде; кончающиеся: «Ходить к вам не по улице, а по земле (и т. д.), но – я вас люблю, а вы меня не любите!» Интересно это тем, что я, искренно желая все сделать, чтоб не дать ему ни малейшей боли, настолько с ним нечутка и вне его, что, думая написать «нежное» письмо, – написала до того оскорбившее его, одно (первое), что он мне его возвратил!

Идя тогда домой из редакции, я думала: вот человек, с которым я обречена на вечные оплошности, потому что если у него и было что-нибудь ко мне – то... он только лежал у моих «ног». Выше моих ног его нежность не подымалась. Голова моя ему не нужна, сердце – непонятно, а ноги казались достойными восхищения. Вот и все.

Ну вот, они приехали. Дождливые, темные дни. Зала в гроздьях рябины. Желтые восковые свечи. Мистерия. Огни над черным озером. (А какие были рыжие грозды!) Потом тихое, долгое сиденье за столом, только я и самые близкие (самые, не могу иных слов не иметь), даже Ася ушла спать. Свечи опять все зажгли, и тихо говорили все. И на прощанье вдруг все поцеловались. Это было хорошо.

Днем мы с Карташевым гуляли и как-то объяснялись, но ничего не выходило, и что-то было в нем странное. Ничего не понимала.

Вскоре мы остались в громадном доме одни. Письма Карташова все странные – и опять влюбленные. Написала ему, чтобы приехал на один вечер в субботу.

Неожиданно в этот же вечер приехал Блок. Ничего. Я после чаю, когда Д. С. ушел спать (и Блок), увела Карташева вверх в круглую, к себе, и мы долго разговаривали, шепотом,

чтобы не разбудить Д. С. Не помню точно разговора, но мне в Карташеве чудилось что-то темное, а он не говорил – что, и я старалась сказать себе, что ничего нет. Но почти волнения уже не было, а какая-то «обязанность» перед собою и перед ним. Ведь и мысли у меня были другие! Прощаясь, на темном пороге, я его поцеловала... Но, Боже, как странно! Холодные, еще более дрожащие – и вдруг *жадные* губы. Бессильно жадные... Мне было не противно, а страшно. Что, когда случилось? Знает ли он сам, когда и что с ним случилось? Что же было? И было ли?

Я боялась сказать себе словами: так целовал бы страстно-жадный и бессильный мертвец. Тогда не сказала. Удержалась.

Осень. Несколько мучительных писем. Да чего же ему надо? Ошеломлена признанием, что он давно мучается злобной ревностью к Успенскому! Что это? Глупость? Наивность? А Успенский что? В самом деле влюблен? И так опасен? Надо присмотреться к Успенскому. Держала я всегда с ними себя – внешне – особенно ровно, даже щеголяла этим. А потом эта ровность сделалась моей целью, каким-то самоограждающим от себя, моим для меня как бы оправданием. Не двое только пусть нас будет, а трое. И двое – и трое... Сюда центр тяжести, одно осталось...

Я не могу проводить вечера в разуверениях Карташева, что не люблю Успенского. И, пожалуй, он хочет, чтобы я его продолжала целовать? Да разве это «занятие»? Или «доказательство»? Да это и не-воз-мож-но более! Так длилось...

В одно утро, – Д. С. гулял, я была в ванне, – звонок. Дашин взволнованный голос...

Я одеваюсь. Сердце мое бьется сильно и ровно. Знаю, что ничего не могу иначе, кроме того, что сделаю... Никто не помешает мне и не сорвет в сторону, потому что в грехе для меня давно нет никакого соблазна, в теле нет желаний, противостоящих душе, а в сердце нет жалости... Нету? Совсем? Вот последний соблазн, в который я, пожалуй, еще могу впасть. Или не могу? Не знаю. Тут осторожнее – но очень все-таки не боюсь...

Ни от чего не отказываюсь, ничего не предпрещаю, не угадываю. И так, как будто все (мое *самое* главное все) не только сбыточно, но *есть*. Только так. Да иначе и не могу.

«Но если я ненавижу государство российское?»

Не японская, не турецкая, а мировая. Страшно писать о ней мне. Она принадлежит всем, истории. Нужна ли обывательская запись?

Да и я, как всякий современник – не могу ни в чем разобраться, ничего не понимаю, ошеломление.

Осталось одно, если писать – простота.

Кажется, что все разыгралось в несколько дней. Но, конечно, нет. Мы не верили потому, что не хотели верить. Но если бы не закрывали глаз...

Меня, в предпоследние дни, поражали петербургские беспорядки. Я не была в городе, но к нам на дачу приезжали самые разнообразные люди и рассказывали, очень подробно, сочувственно... Однако я ровно ничего не понимала, и чувствовалось, что рассказывающих тоже ничего не понимает. И даже было ясно, что сами волнующиеся рабочие ничего не понимают, хотя разбивают вагоны трамвая, останавливают движение, идет стрельба, скачут казаки.

Выступление без повода, без предлогов, без лозунгов, без смысла... Что за чепуха? Против французских гостей они, что ли? Ничуть. Ни один не мог объяснить, в чем дело. И чего он хочет. Точно они по чьему-то формальному приказу били эти вагоны. Интеллигенция только рот открывала – на нее это, как июльский снег на голову. Да и для всех подпольных революционных организаций, очевидно.

М. приезжал взволнованный, говорил, что это органическое начало революции, а что лозунгов нет – виновата интеллигенция, их не дающая.

А я не знала, что думать. И не нравилось мне все это – сама не знаю, почему.

Вероятно, решила, бессознательно понялась близость неотвратимого несчастья с выстрела Принципа.

Мы стояли в саду, у калитки. Говорили с мужиком. Он растерянно лепетал, своими словами, о приказе приводить лошадей, о мобилизации... Это было задолго до 19 июля. Соня слушала молча. Вдруг махнула рукой и двинулась:

– Ну, – словом, – беда!

В этот момент я почувствовала, что кончено. Что действительно – беда. Кончено.

А потом опять робкая надежда – ведь нельзя: Невозможно! Невообразимо!

За несколько дней почти все наши уехали в город. Должны были вернуться вместе в субботу, к нам. Нам предстояли очень важные разговоры, может быть – решения...

Но утром в субботу явилась Т. – одна. «Я за вами. Поедьте в город сегодня». – «Зачем?» – «Громадные события, война. Надо быть всем вместе». – «Тем более, отчего же вы не приехали все?» – «Нет, надо быть со всеми, народ ходит с флагами, подъем патриотизма...»

В эту минуту – уже помимо моей воли – решила моя позиция, мое отношение к событиям. То есть коренное. Быть с несчастной, не понимающей происходящего, толпой, заражаться ее «патриотическими» хождениями по улицам, где еще не убраны трамваи, которые она громила в другом, столь же неосмысленном «подъеме»? Быть щепкой в потоке событий? Я и не имею права сама одуматься, для себя осмыслить, что происходит? Зачем же столько лет мы искали сознания и открытых глаз на жизнь?

Нет, нет! Лучше, в эти первые секунды, – молчание, покров на голову, тишина.

Но все уже сошло с ума. Двинулась Сонина семья с детьми и старой теткой Олей. Неистовствовал Вася-депутат.

И мы поехали в Петербург. На автомобиле.

Неслыханная тяжесть. И внутреннее оглушение. Разрыв между внутренним и внешним. Надо разбираться параллельно. И тихо.

Присоединение Англии обрадовало невольно. «Она» будет короче...

Сейчас Европа в пламенном кольце. Россия, Франция, Бельгия и Англия – против Германии и Австрии...

И это только пока. Нет, «она» не будет короткой. Напрасно надеются...

Смотрю на эти строки, написанные моей рукой, – и точно я с ума сошла. Мировая война!

Никто не понимает, что такое война, – во-первых. И для нас, для России, – во-вторых. И я еще не понимаю. Но я чую здесь ужас беспримерный.

Все растерялись, все «мы», интеллигентные словесники. Помолчать бы, – но половина физиологически заразилась бессмысленным воинственным патриотизмом, как будто мы «тоже» Европа, как будто мы смеем (по совести) быть патриотами просто... Любить Россию, если действительно, – то нельзя, как Англию любит англичанин. Тяжкий молот наша любовь... настоящая.

Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но если я ненавижу *государство* российское? Если оно – против моего народа на моей земле?

То там, то здесь собираемся. Большинство политиков и политиканствующих интеллигентов (у нас ведь все политики) так сбились с панталыку, что городят мальчишеский вздор. Явно, всего ожидали – только не войны. Как-то вечером собрались у Славинского. Народу было порядочно. Карташев, со своими славянофильскими склонностями, очень был в тоне хозяина.

Впрочем, не обошлось и без нашего «русского» вопроса: желать ли победы... самодержавию? Ведь мы вечно от этой печки танцуем (да и нельзя иначе, мы должны!). Военная победа – укрепить самодержавие... Приводились примеры... верные. Только... не беспримерно ли то, что сейчас происходит?

Говорили все. Когда очередь дошла до меня, я сказала очень осторожно, что войну по существу, как таковую, отрицаю, что всякая война, кончающаяся полной победой одного государства над другим, над другой страной, носит в себе зародыши новой войны, ибо рождает национально-государственное озлобление, а каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идем, от «вселенскости». Но что, конечно, учитывая реальность войны, я желаю сейчас победы союзников.

Керенский, который стоял направо, рядом со мною и говорил тотчас после меня, подхватил эту «вселенскость» (упорно говоря «вселенность!») и, с обычной нервностью своей, сказал приблизительно то же и так же кончил «за союзников». Но видно, что и он еще в полноте своей позиции не нашел. Военная зараза к нему пристать не может, просто потому, что у него не та физиология, он слишком революционер. А я начинаю прощупывать, что тут какое-то «или-или»... Впрочем, рано, потом.

Керенский не очень умен, но чем-то он мне всегда был особенно понятен и приятен, со всем своим мальчишески-смелым задором.

Да, а для нас еще пора молчания... И как жаль, что Карташев уже без оглядки внесся в войну, в проклятия немцам, в карту австрийских славян...

Мой неизменный Архип Белоусов (мужик-рабочий) мне пишет: «Душа моя осталась верна себе, я только невольно покорюсь войне, что действительно надо». (Он полутолстовец, интересный, начитанный фантазер.)

Швейцар наш говорит жене: «Что ж поделаешь, дело обчее, на всех враг пошел, всех защитить надо».

Володя-студент перешагнул через горе матери: «Да, это эгоизм, но я все равно пойду, не могу не идти», – и уехал вчера с преображенцами.

Писатели все взбесились. К. пишет у Суворина о Германии: «...надо доконать эту гидру». Всякие «гидры» теперь исчезли, и «революции», и «жидовства», одна осталась: Германия. Щеголев сделался патриотом, ничего кроме «ура» и «жажды победы» не признает.

Е., который, по его словам, все войны отрицает, эту настолько признает, что все пороги обил, лишь бы «увидеть на себе прапорщичий мундир». (Не берут, за толщину, верно!)

Тысячи возвращающихся с курортов через Швецию создали в газетах особую рубрику: «Германские зверства». Возвращения тяжкие, непередаваемые, но... кто осуждает? Тысячными толпами текут евреи. Один, из Торнео, руку показывал: нет пальца. Ему оторвали его не немцы, а русские – на погроме. Это – что? Или евреи не были безоружны? А если и мы звери... кому перед кем кичиться?

Впрочем, теперь и Пуришкевич признает евреев и руку жмет Милюкову.

Волки и овцы строятся в один ряд, нашли третьего, кого есть.

Эта война... Почему вообще война, всякая, – зло, а только эта одна – благо?

Никто не знает. Я верю, что многие так чувствуют. Я, нет. Да и мне все равно, что я чувствую. То есть я не имею права ни слова ей, войне, сказать, пока только чувствую. Я не верю чувствам: они не заслуживают слов, пока не оправданы чем-то высшим. И не закреплены правдой.

Впрочем, не надо об этом. Проще. Идет организованное самоистребление, человекоубийство. «Или всегда можно убить, или никогда нельзя». Да, если нет истории, нет движения, нет свободы, нет Бога. А если все это есть – так сказать нельзя. Должно каждому данному часу истории говорить «да» или «нет». И сегодняшнему часу я говорю, со дна моей человеческой души и человеческого разума – «нет». Или могу молчать. Даже лучше, вернее – молчать. А если слово – оно только «нет». Эта война – война. И войне я скажу: никогда нельзя, но уже никогда и не надо.

Разрушенная Бельгия, бомбы над родным Парижем, Notre Dame, наше неясное положение со взятой Галицией, взятыми немцами польскими городами, а завтра, быть может, Варшавой... Генеральное сражение во Франции – длится более месяца. Ум человеческий отказывается воспринимать происходящее.

Как дымовая завеса висит ложь всем-всем-всем и натуральное какое-то озверение.

У нас в России... странно. Трезвая Россия – по манию царя. По манию же царя Петербург великого Петра – провалился, разрушен. Худой знак! Воздвигнут некий Николоград – по казенному «Петроград». Толстый царедворец Витнер подsunул царю подписать: патриотично, мол, а то что за «бург», по-немецки (!?!).

Худо, худо в России. Наши счастливые союзники не знают боли раздирающей, в эти всем тяжкие дни, самую душу России. Не знают и, беспечные, узнать не хотят, понять не хотят. Не могут. Там, на Западе, ни народу, ни правительству не стыдно сближаться в этом, уже *необходимом*, общем безумии. А мы! А нам!

Тут мы покинуты нашими союзниками.

Господи! Спаси народ из глубины двойного несчастья его, тайного и явного!

Я почти не выхожу на улицу, мне жалки эти, уже подстроенные, патриотические демонстрации с хоругвями, флагами и «патретами».

Главное ощущение, главная атмосфера, что бы кто ни говорил, – это непоправимая тяжесть несчастья. Люди так неумеренно, так невместимо жалки. Не заслоняет этого историческая грандиозность событий. И все люди правы, хотя все в разной мере виноваты.

Царь ездил в действующую армию, но не проронил ни словечка. О, это наш молчальник известный, наш «чародей», со всеми «согласный» – и никогда ни с кем!

Едкая мгла все лето нынче стояла над Россией, до Сибири – от непрерывных лесных и торфяных пожаров. К осени она порозовела, стала еще более едкой и страшной. Едкость и розовость ее тут, день и ночь.

Москва в повальном патриотизме, с погромными нотками. Петербургская интеллигенция в растерянности, работе и вражде. Общее несчастье не соединяет, а ожесточает. Мы все понимаем, что надо смотреть проще, но сложную душу не усмиришь и не урежешь насильно.

Люблю этот день¹, этот горький праздник «первенцев свободы». В этот день пишу мои редкие стихи. Сегодня написался «Петербург». Уж очень-очень мне оскорбителен «Петроград», создание «растерянной челяди, что, властвуя, сама боится нас...». Да, но «близок ли день», когда «восстанет он» —

...Все тот же, в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург,
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург?..

Но это грех теперь – писать стихи. Вообще, хочется молчать. Я выхожу из молчания, лишь выведенная из него другими. Так, в прошлом месяце было собрание Рел. – Фил. Общества, на котором был мой доклад о войне. Я говорила вообще о «Великом Пути» истории (с точки зрения всехристианства, конечно), об исторических моментах как ступенях – и о данном моменте, конечно. Да, что война – «снижение»², – это для меня теперь ясно. Я ее отрицаю не только метафизически, но исторически... т. е. моя метафизика истории ее, как таковую, отрицает... и лишь *практически* я ее признаю. Это, впрочем, очень важно. От этого я с правом сбрасываю с себя глупую кличку «пораженки». На войну нужно идти, нужно ее «принять»... но принять – корень ее отрицая, не затемняясь, не опьяняясь; не обманывая ни себя, ни других – не «снижаясь» внутренне.

Нельзя не «снижаясь»? Вздор. Если мы потеряем сознание, – все и так полусознательные – озвереют.

Да, это отправка точка. Только! Но непременно.

Были горячие прения. Их перенесли на следующее заседание. И там то же. Упрекали меня, конечно, в отвлеченности. Карташев моими же «воздушными ступенями» корил, по которым я не советовала как раз ходить. Это пусть! Но он сказал ужасную фразу: «... если не принять войны *религиозно*...»

Меня поддерживал, как всегда, М. и мой большой единомышленник по войне и антинационализму (зоологическому) – Дмитрий (Мережковский).

Сложный вопрос России, конечно, вставал очень остро...

Эти два заседания опять показали, как бессмысленно в конце концов «болтать» о войне. Что знаешь, что думаешь – держи про себя. Особенно теперь, когда так остро, так больно... Такая вражда. Боже, но с каким безответственным легкомыслием кричат за войну, как безумно ее оправдывают! Какую тьму сгущают в грядущем! Нет, теперь нужно.

¹ 14 декабря

² Слово, которое теперь так любят большевики, беря его в «товарном» смысле, было употреблено мною впервые, в этом докладе, и обозначало внутреннее, духовное падение, понижение уровня человеческой морали. (Примеч. 1927 г.).

– «Лишь целомудрие молчания —
И, может быть, тихие молитвы...»

Война длится. Варшаву немцы не взяли, отрезали пол-Польши. А мы у австрийцев набрали городов и крепостей. И наводим там самодержавные порядки. Дарданеллы бомбардируются союзниками.

Нигде ничего нет, у немцев – хлеба, а у нас – овса и угля (кажется, припрятано).

Эта зима – вся в глухом, беспорядочном... даже не волнении, а возбуждении каком-то. Сплетаются, расплетаются интеллигентские кружки, борьба и споры, разделяются друзья, сходятся враги... Цензура свирепствует. У нас частые сборища разных «групп», и кончается это все-таки расколом между «приемлющими» войну и «до победы» (с лозунгом «все для войны», даже до Пуришкевича и далее) – и «неприемлющими», которые, однако, очень разнообразны и часто лишь в этом одном пункте только и сходятся, так что действовать вместе абсолютно неспособны.

Да и как действовать? «Приемлющие» рвутся действовать, помогать «хоть самому черту, не только правительству», и... рвутся тщетно, ибо правительство решительно никого никуда не пускает и «честью просит» в его дела носа не совать; никакая, мол, мне общественная помощь не нужна. А если вы так преданны – сидите смирно и немо покоряйтесь, вот ваша помощь.

Отвечено ясно, а патриоты интеллигентные не унимаются. Даром, что все «седые и лысые».

От седых и лысых я, по воскресеньям, перехожу к самой зеленой молодежи: являются всякие студенты-поэты, студенты просто, гимназисты и гимназистки, всякие мальчики и девочки.

Поэзию я слушаю, но не поощряю, а хочу понять, как они к жизни относятся, и навожу их на споры о войне и политике, – ничуть их не поучая, впрочем. Мне интересно, что они сами думают, какие они есть, а педагогика всякая мне скучна до последней степени. Смотрю – пока мне любопытно, люблю умных и настоящих и равнодушно забываю ненужных.

Отношение к войне у многих очень хорошее, трезвое, свежее, сознательное.

О, война! Тяжесть и утомление мира неописуемы. Такого в истории мы еще не видали.

Немцы ничего не взяли, кроме Бельгии. И куска Польши. Невозможен мир... но и война тоже?

Москвичи осатанели от православного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн, Флоренский, Булгаков, Трубецкой и т. д. и т. д. О, Москва, непонятный и часто неожиданный город, где то восстание – то погром, то декадентство – то ура-патриотизм, – и все это даже вместе, все дико и близко связано общими корнями, как Герцен, Бакунин и – Аксаковская славянофильщина.

У нас цензура сейчас – хуже николаевской раз в пять. Не «военная» – общая. Напечатанное месяц тому назад перепечатать уже нельзя. Рассказы из детской жизни цензурует генерал Дракке... Очень этичен и строг.

Скрябин умер. Многие, впрочем, умерли. Сыновья З. Ратьковой живы, на войне.

Не успеешь с кем-нибудь поспорить – он уже на войне.

Белая ночь глядит мне в глаза. Небо розовое над деревьями Таврического сада, тихими, острыми. Вот-вот солнце взойдет. Есть на что солнцу глядеть. Есть нам что ему показать. А еще говорят – «солнцу кровь не велено показывать...»

Все время видит оно – кровь.

Все более и более ясные формы принимает наш *внутренний* ужас, хотя он под покрывалом, и я лишь слепо ощупываю его. Но все-таки я нащупываю, а другие и притронуться не хотят. Едва я открываю рот, – как «реальные» политики накидываются на меня с целой тьмой возражений, в которой я, однако, вижу роковую тупость.

Да, и до войны я не любила нашу «парламентскую оппозицию», наших кадетов. И до войны я считала их умными, честными... простофилями, «благородными иностранцами» в России. Чтобы вести себя «по-европейски», – и чтобы это было кстати, – надо позаботиться устроить Европу... Но что я думала до войны – это неважно, да неважны и мои личные симпатии. Я говорю о теперешнем моменте и думаю о кадетях, о нашей влиятельной думской партии, с точки зрения *политической целесообразности*. Я сужу их линию поведения, насколько могу объективно, и – увы – начинаю видеть ошибки фатальные.

Лозунг «Все для войны!» может, при известной совокупности обстоятельств, звучать прежде всего как лозунг: «Ничего для победы!» Да, да, это кажется дико, это то, чего никогда не поймут союзники, ибо это русский язык, но... как русские не понимают?

Боюсь, что и я этого... не хочу до конца понять. Ибо – какой же вывод? Где выход? Ведь революция во время войны – помимо того, что она невозможна, – как осмелиться желать ее? Мне закрывают этим рот. И значит, говорят далее, – думать только о войне, вести войну, не глядя, с кем ради нее соединяешься, не думая, что ты помогаешь правительству, а считая, что правительство тебе помогает... Оно плохо? Когда пожар – хватай хоть дырявую пожарную кишку, все-таки помощь...

Какие слова-слова-слова! Страшно, что они такие искренние – и такие фатально-ребяческие! Мы двинуться не можем, мы друг к другу руки не можем протянуть, чтобы по пальцам не ударили, и тут «считать», что «мы» ведем войну («народ!») и только берем снисходительно помощь от царя. Кого обманывают? Себя, себя!

Народ ни малейшей войны не ведет, он абсолютно ничего не понимает. А мы абсолютно ничего ему не можем сказать. Физически не можем. Да если б вдруг, сейчас, и смогли... пожалуй, не сумели бы. Столетия разделили нас не плоше Вавилонской башни.

Но что гадать – вот данное. Мы, – весь тонкий, сознательный слой России, – безгласны и бездвижны, сколько бы ни трепыхались. Быть может, мы уже атрофированы. Темная толща идет на войну по приказанию свыше, по инерции слепой покорности. Но эта покорность – страшна. Она может повернуть на такую же слепую непокорность, если между исполняющими приказы и приказывающими будет вечно эта глухая пустота – никого и ничего. Или еще, быть может, хуже... Но я «восхищаю недарованное», оформливаю еще бесформенное. Подождем.

Скажу только, что народ *не хочет* войны. Это у него верный инстинкт – кто же хочет войны. Первично-примитивно, если душу открыть. Это вечно-верно, не хочу войны. Вернее, так: никому *не хочется* войны. Для того, чтобы сказать себе: да, не хочется, и праведно не хочется, но вот потому-то и поэтому-то – *надо*, неизбежно, и я моей разумной волей, на этот час, побеждаю это «не хочется», хочу делать то, что «не хочется», для такой примитивной работы внутренней нужен проблеск сознания.

А сознания у народа ни проблеска нет. То, что говорят ему, к сознанию не ведет. Царь приказывает – они идут, не слыша сопроводительных, казенно-патриотических, слов. Общество, интеллигенция говорят в унисон, те же и такие же патриотически-казенные слова; т. е. «приявшие войну», а не «приявшие» физически молчат, с начала до конца, и считаются «пораженцами»... да, кажется, растерялись бы, испугались бы, дай им *вдруг* возможность говорить громко. «Вдруг» нужных слов не найдешь, особенно если привык к молчанию.

Разве между собою мы, сознательные, находим нужные слова? Вот, недавно, у нас было еще собрание. Интеллигенция, не пристающая ни к кадетам, ни к революционерам

(беру за одну скобку левые партии). Это – так называемые «радикалы». Они большею частью у нас из поправевших эс-деков.

(К ним, в сущности, принадлежал и Богучарский. Он умер, умер Богучарский.)

Но довольно странно, что тут же очутился и Горький. И даже в таких близких настроениях, что как будто вместе они все строят новую «радикально-демократическую» партию. Это и был главный вопрос собрания. Странно насчет Горького потому, что он давнишний эс-дек (насколько он в политике сознателен... Мало!). Были кое-кто из нетвердых кадетов... были все наши «седые и лысые». Была Кускова. Единственная «умная» женщина, одна и на Петербург, и на Москву (она живет в Москве). Умная! Необыкновенно непроницательная, близорукая в той же политике.

Как противна наша присяжная литература. Завопила, как зарезанная, о войне с первого момента. И так бездарно, один стыд сплошной. Об А. я и не говорю. Но Брюсов! Но Блок! И все, по нисходящей линии. Не хватило их на молчание. И наказаны печатью бездарности.

Более мутного момента еще не было за год войны. Вероятно, не было и за всю жизнь нашу, и за жизнь наших отцов.

Мы отдали назад всю Галицию (это ничего), эвакуирована Варшава. Взята Либава, Виндава, кажется, Митава, очищена Рига. Сильнейшее наступление на нас, а у нас... нет снарядов!

Это знала думская оппозиция уже в январе! И тогда было условлено – молчать! Вот когда в первый раз кадеты сознательно прикрыли правительство.

Впрочем, об этом лучше меня будет рассказано в истории.

Пока я знаю лишь вот что:

Я знаю, что Россия с данным правительством прилично одолеть немцев – не может. Это уже подтверждено событиями. Это – несомненно и бесповоротно. А как одолеть правительство – я не знаю. То есть не вижу еще конкретных путей для конкретных людей, которых тоже не вижу. Кто? Какие?

Не понимаю (честно говорю это себе) и боюсь, что все запутались, все ничего не понимают. Какое время!

Благодаря нашему воспитанию (или нашей невоспитанности) мы – *консервативны*. Это наше главное свойство. Консервативны, малоподвижны, туги к восприятию момента, ненаходчивы, несообразительны, как-то оседлы – все, сверху донизу, справа долева. Жизнь бежит, кипит, мы – будто за ней, но не поспеваем, отстаем, ибо каждый заботится прежде всего, как бы не потерять своего места. Соотношение сил этим сохраняется, пребывает. Но какие силы в пустоте? Марево: жизнь ушла вперед.

Одинаково консервативны в этом смысле: и Дурново, и Милюков, и Чхеидзе. Я беру три имени не лично, а обще-определительно, как три ясных линии политических.

Что ни происходит, как ни толкает, ни вертит, ни учит жизнь —
Дурново все так же требует «держаться и не пущать»,
Милюков все так же умеренничает и воздерживается,
Чхеидзе все так же предается своим прекрасным утопиям.

В обычное время деятельность Дурново весьма вредна, деятельность Милюкова весьма полезна, а Чхеидзе – почтенна. Так было. Но так уже не есть, ибо сейчас есть то, чего не было, – есть война. И все изменилось. В новом, багровом, луче изменились все цвета.

Установим исходную точку. Исходная точка – необходимость защиты и сохранения России, самостоятельной жизни русского народа. То есть – успешное продолжение и окончание борьбы с Германией.

Рассматривая под этим знаком тройственную линию нашего политического консерватизма, мы должны иначе оценивать деятельность каждой из трех групп.

Деятельность «Дурново» так вредила России и уже так навредила ее сегодняшней задаче, что едва ли стоит сейчас останавливаться на пояснениях. Сейчас яд этого открыт, губительность его, кажется, ясна для всех. Не слишком ли поздно? Другой вопрос. Но мы кое-как восприняли в этой стороне наглядный урок жизни. Однако вред продолжается...

Деятельность «Милюкова» – полезна ли она в данный час России и ее первой задаче – успешной обороне?

Нет, не полезна, и вот почему: она попустительна ко вреду. Есть моменты истории, когда позиция «умеренности» преступна, как позиция предательства. Жизнь разжевала и в рот положила «умеренным» горький плод их «январского молчания»; но и поныне костенеют они в том же своем принципе «понемножку». Они как будто увидели весь яд «Дурново» и видят его продолжающее действие, но все думают, как бы воспрепятствовать ему «повежливей»... Нет, и думание, и делание «умеренной оппозиции» сейчас, прежде всего, *не действенно*. Оно равняется нулю и останется нулевым практически. А так как, волею времени и совокупных причин, как раз от умеренных требуется сию минуту главное делание (они – в центре политики), то эта пустота – уже не нуль, а делание отрицательное – вред.

А что же деятельность «Чхеидзе», столь «почтенная» в мирное время, то есть – крайних левых наших?

Поскольку она успешна – она опасна, и счастье, что она не успешна. Оторванная от центрально-важных сейчас, левогосударственных, политических кругов, неподвижно-консервативная в себе, деятельность неорганизованных «левых» с подкладкой не политики, а социализма (то есть внеисторической утопичности) – такая деятельность только и может быть или неуспешна, или вредна.

Правые – и не понимают, и не идут, и никого никуда не пускают.

Средние – понимают, но никуда не идут, стоят, ждут (чего?).

Левые – ничего не понимают, но идут неизвестно куда и на что, как слепые.

Со всеми же вместе что будет? С Россией? Или она уже обречена – за старый и вечный свой грех долготерпения?

Самодержавие... Пока эта точка горит – всего можно ожидать, ни на что нельзя надеяться. (Не долго ли горит, не перегорела ли Россия?)

Непонимающие низы, одни, с этой точкой не справятся. (Если б справились по-своему – то не к добру. Ведь ее и «погасить в уме» надо!)

Умеренные и вежливые верхи – (в своей умеренности) – тоже не справятся. Они со странной нерешительностью все «обхаживают» самодержавие (будто его можно обойти!). Но с них больше спросится, – ой, как спросится! – потому что спасти Россию сейчас можно – не снизу. Ее могли бы спасти только эти политические верхи. Но только в известном контакте, в каком-то сговоре, с крайними левыми, т. е. поступившись известной долей своей умеренности... я не сомневаюсь, что при этом контакте и крайние поступились бы известной долей своей крайности.

Теперь уже для большинства видна горящая точка русского самодержавия. Жизнь кричит во все горло: без революционной воли, без акта хотя бы внутренне революционного – эта точка даже не потускнеет, не то что не погаснет. Разве вместе с Россией.

Нам сейчас нужен, необходим, – только один рубль. Не надеясь на рубль – умеренные мечтают о сорока пяти копейках. Но смиренно попросить «хоть сорок пять копеечек» – верное средство получить в ответ оплеуху или «дурака».

Потребуйте рубль двадцать. Но требуйте – не просите. Тотчас полезут за кошельком и выложат заветный рубль. Надо, чтобы была опаска: не дашь рубля – весь кошелек возьмут.

От просьб опаска не родится, а от недоброго – добром ничего получить нельзя. Ничего.

Варшава давно сдана. И Либава, и Ковно. Немцы наступают по всему фронту, все крепости сданы, очищена Вильна, из Минска бегут. Вопрос об эвакуации Петрограда открыт. Тысячная толпа беженцев тянется к центру России.

Внутреннее положение не менее угрожающее. Главнокомандующий сменен, сам царь поехал на фронт.

Думский блок (ведь он от к.-д. до националистов включительно) получил только свое. На первый же пункт программы (к.-д. пожертвовали «ответственным» министерством, лишь попросили, скромно и неопределенно, «министерство, пользующееся доверием страны») – отказ, а затем Горемыкин привез от царя... роспуск Думы. Приказ еще не был опубликован, когда мы говорили с Керенским о серьезном положении по телефону. Керенский и сказал, что в принципе дело решено. Уверяет, что волнения уже начались. Что получены, вечером, сведения о начавшихся забастовках на всех заводах. Что правительственный акт только и можно назвать безумием. (Не надо думать, что это мы столь свободно говорим по телефону в Петербурге. Нет, мы умеем не только писать, но и разговаривать эзоповским языком.)

– Что же теперь будет? – спрашиваю я под конец.

– А будет... то, что начинается с а...

Керенский прав, и я его понимаю: будет анархия. Во всяком случае, нельзя не учитывать яркой возможности *неорганизованной* революции, вызываемой безумными действиями правительства в ответ на ошибки политиков. Лишь известная политическая неумеренность может добиться необходимого минимума.

А только он спасет Россию. Его нет – и каждый день стены сдвигаются: стена немцев и стена хаотического бунта внутреннего. Они сдвинутся и сольются. Какие возможности!

Правительство не боится никаких разумно-вежливых слов. Анархии не боится, ибо ничего не видит и не понимает. В предупреждение «злоумышленных эксцессов» (видали, мол, виды!) этот рамоли-Горемыкин созвал к себе на днях... всех градоначальников. У цензуры пока заметны признаки острого помешательства, но вскоре она просто все закроет, и когда на улицах будут расстрелы – газеты запишут усиленно о театре.

Правительство, в конце концов, не боится и немцев.

Но неужели наши главные «политики», наши думцы, кадеты, неужели они о сию пору еще не убедились бесповоротно, что: *без перемены правительства невозможно остановить нашествие немцев, как невозможно предотвратить бессмысленное восстание?*

Я хочу знать; это нужно знать; ибо если они в этом еще *не* твердо убеждены и действуют, как действуют, – то они только легкомысленные, ошибающиеся люди; а если убеждены, и все-таки по-своему, бесплодному (вредному) действуют, – они преступники.

Так или иначе – ответственность лежит на них, ибо, по времени, *им* должно действовать.

В Петербурге нет дров, мало припасов. Дороги загромождены. Самые страшные и грубые слухи волнуют массы. Атмосфера зараженная, нервная и... беспомощная. Кажется, вопли беженцев висят в воздухе... Всякий день пахнет катастрофой.

– Что же будет? Ведь невыноси-тель-но! – говорит старый извозчик.

А матрос Ваня Пугачев пожимает плечами:

– Уж где этот малодушный человек (царь), там обязательно несчастье.

«Только вся Расея – от Алексея до Алексея».

Это, оказывается, Гришка Распутин убедил Николая взять самому командование.

Да, тяжелы, видно, грехи России, ибо горька чаша ее. И далеко не выпита.

Указ о роспуске Думы «приял силу», несмотря на сильное давление союзников. Конечно, они не хотят. Но с достаточной ли ясностью видят они путь гибели наш?

Неужели – поздно?

...И вот Господь неумолимо
Мою Россию отстранит...

Уж и Дурново умер и, мертвый, торжествует больше, чем когда-либо. Вводится предварительная цензура. «Не уявися, что будем!» – восклицает... Б. Суворин.

Родзянке отказано в аудиенции. Депутация московских съездов, думаю, не будет принята. А если и будет...

Умеренные возглашают: «Спокойствие, спокойствие, спокойствие!» – как, бывало, Куропаткин в Японской войне: «Терпение, терпение и терпение».

Зато громко говорят немецкие орудия.

Трагизм превзошел ожидания: вылился в трагическую, каменную успокоенность, полную победу полной реакции.

Когда распустили Думу она громко прокричала «ура» и тихо разошлась. Лозунг депутатов был: «Сохраняйте спокойствие». И сами сохранили его, и помогли, при содействии правительства, другим в этом занятии. Пока что – хлыщ и провокатор Хвостов (новый министр) задействовал, черносотенцы съехались с уволенными (в Государственном Совете сидящими) министрами, «объединенное дворянство» со своей стороны «припало к самодержцу».

На съезде митрополит объявил: не только царь – помазанник, но «соизволением Божиим поставленные министры тоже имеют на себе от Духа Свята» (Хвостов, например, ну и прочие). Таково, мол, «учение Церкви». Своего рода декларация.

В указе о разгоне Думы было определено, что ее вновь соберут «не позже ноября». Однако, вот, не желают. Хвостов смеется: это «каприз»! Отложим лучше.

Блокисты не знают, куда девать глаза. Хранят свое спокойствие, хотя на сердце-то скребет...

...Без утра пробил час вечерний
И гаснет серая заря...
Вы отданы на посмех черни
Коварной волею Царя...

Воистину на посмех. И то ли еще будет!

Войне конца-краю не видать. Германия уже съела, при помощи «коварной» Болгарии – новой союзницы, – Сербию; совсем. Ездят прямо из Берлина в Константинополь. Вот, неославянофилы, ваш Царь-Град, получайте. Закидали шапками?

У нас, и у союзников, на всех фронтах – окостенение. Во всяком случае мы ничего не знаем. Газет почти нельзя читать. Пустота и вялое вранье.

Царь катается по фронту со своим мальчиком и принимает знаки верноподданства. Туда, сюда – и опять в Царское, к престарелому своему Горемыкину.

Впрочем, Николай вовсе не к этому белому дяде рвется в Царское. Там ведь Гришенька, кой, в свободные от блуда и пьянства часы, управляет Россией, сменяет министров и указывает линию. В прочее время, Россия ждет... пребывая в покое.

Сто раз мы имели случай лицезреть этого прохвоста; быть может, это упущение с исторической, с литературной, с какой еще угодно точки зрения, однако доводы разума были слабее моей брезгливости. А любопытство... тоже действовало вяло, так как этого сорта «старцев» немало мы перевидали. Этот – что называется «в случае», попал во дворец, а Щетинин, например, только тем от Гришки и отличается, что «неудачник», к царям не попал. Остальное – детально того же стиля, разве вот Щетинин «с теориями» поверх практики (ахиною несет и безграмотно ее записывает, а Гришка ни бе, ни ме окончательно). Гришка начался в те же времена, как и Щетинин, но последний пошел «по демократии» и не успел, до провала, зацепиться (хоть и закидывал удочки в высшие слои); Гришка же, смышленная шельма, никого вокруг не собирал, в одиночку «там и сям» нюхал. То – пропадал, то – опять всплывал. Наконец, наступив на одного лаврского архимандрита (настоящего монаха, имевшего некое, малое, царское благоволение) как на ступеньку, ступеньку продавил, а к «царям» подтянулся. После летнего, перед войной, покушения на него безносой бабы особенно утвердился.

Да, вот годы, как безграмотный буквально, пьяный и болезненно-развратный мужик по своему произволу распоряжается делами государства Российского. И теперь, в это особенное время – *особенно*. Хвостов ненавидит его, а потому думаю, что Хвостов недолговечен. Ненавидит же просто из зависти. Но тот его перетянет. Остальные министры все побывали у Гришки на поклоне и кланялись, целуя край его хламиды. (Это не «художественный образ», а факт: иногда Гришка выходит к посетителю в белом балахоне, значит – надо к балахону прикладываться).

Экая, прости Господи, сумасшедшая страна. И бедный Милюков тут думает «действовать» – в своих европейских манжетах.

Что это, идеализм, слепота, упрямство?

О, наши «реальные» политики!

Плеханов и другие заграничники вредны становятся (мало, ибо значения не имеют). Но они вполне невинны: оттуда не видать. Ничего. Ровно ничего.

Кажется, там разделение по линии войны. Борису я перестала отвечать, бесполезно сквозь такую цензуру. По-видимому, он увлечен войной (еще бы, во Франции!), хотя в «Призыве» не участвует. «Призыв» – это тамошний журнал стоящих за войну русских социалистов. Я его не знаю, но верю тут Керенскому, который им возмущен. Керенский приблизительно на моей позиции стоит не только по отношению к войне, но, главное, по отношению к данному внутреннему положению *военной* России. Он не умнее тамошних эмигрантов, но он *здесь*, а потому он видит, что здесь такое. А эмигранты слепы. Я даже боюсь, что все эмигранты слепы, всех толков, и «призывисты» и не призывисты. По-разному, но в равной степени. Ибо и противо-призывисты, отрицающие войну, тоже путного не говорят, отрицают просто и глупо, вне времени и пространства. А такого узкого и близкого положения, что *при этом правительстве Россия прилично с войной не развяжется*, – не понимают вовсе, и конечно, ничего дальнейшего, что из этой аксиомы вытекает.

Да, вот тут важно: а вдруг – все равно будет... что?

Мои юные поэты, студенты и другие – постепенно преображаются, являясь в защитках. Кого взяли в солдаты, кого в юнкера, кто приспособился к лазарету. Все там будем. Живы еще гимназисты и барышни.

Газеты... пишут о театре. Даже Б. Суворину запретили писать без предварительной цензуры и оштрафовали за заметку на 3 тысячи.

Большую часть газеты белы, как полотно.

Молчание. Мороз крепкий (15° с ветром). «Чертоград» замерз. Ледяной покой... и даже без «капризов».

Хвостов, стиснув зубы, «охраняет» Гришку. Впрочем, черт их разберет, кто кого охраняет. У Гришки охрана, у Хвостова своя, хвостовские наблюдатели наблюдают за гришкиными, гришкины – за хвостовскими.

Господи, как передать сознательное *ощущение* волоска, на котором все висит? Сознательное, но недоказуемое. Видишь – а другой не видит. А издали, как ни расписывай, и самый зрячий не увидит. Ничего. О нашем, русском, внутреннем *военном* положении...

...Споры только сбивают с толку. Замечательная русская черта: непонимание точно-сти, слепота ко всякой мере. Если я не «жажду победы» – значит, я «жажду поражения». Малейшая общая критика «побединцев», просто разбор положения – повергает в ярость и все кончается одним: если ты не националист – значит, ты за Германию. Или открыто будь «пораженцем» и садись в тюрьму, как чертова там Роза Люксембург села, – или закрой глаза и кричи «ура», без рассуждений.

То «или-или» – какого в жизни не бывает.

Да я сейчас даже не именно войной занята и не решением принципиальных вопросов, нет: близким, узким – сейчасной Россией (при войне). Какая-то *чреватость* в воздухе; ведь нельзя же только – *ждать*!

Сыщики не отходят от нашего подъезда.

И скоро я – который раз!
Сберу бумажные завалы,
И отвезу – который раз!
Чтоб спрятали их генералы.

Право, придется все собирать, и мои многочисленные стихи и всякую, самую частную литературу. У родственников Д. В. генералов вернее сбережется.

Следят, конечно, не за нами... Хотя теперь следят за всеми. А если найдут о Грише непочтительное...

Хотела бы я знать, как может понять нормальный англичанин вот это чувство слежения за твоими мыслями, когда у него этого опыта не было, и у отца, и у деда его не было?

Не поймет. А я вот чувствую глаза за спиной, и даже сейчас (хоть знаю, что сейчас реально глаз нет, а завтра это будет запечатано до лучших времен и увезено из дома) – я все-таки не свободна и не пишу все, что думаю.

Душа человеческая разрушается от войны – тут нет ничего неожиданного. Для видящих. А другие – что делать! – пусть примут это, неожиданное, хоть с болью – но как факт. Пора.

Лев Толстой в «Одумайтесь» (по поводу Японской войны) потрясающе ярок в отрицательной части и детски-беспомощен во второй, положительной. Именно детски. Требование чуда (внешнего) от человечества не менее «безнравственно» (терминология Вейнингера), нежели требование чуда от Бога. Пожалуй, еще безнравственнее и аналогичное, ибо это – развращение воли.

Кто спорит, что *чудо* могло бы прекратить войну. Момент неделанья, который требует Толстой от людей сразу, сейчас, в то время, когда уже делается война, – чудо. Взывать к чуду – развращать волю.

Все взяты на войну. Или почти все. Все ранены. Или почти все. Кто не телом – душой.

Роем тихая лопата,
Роем яму не спеша.
Нет возврата, нет возврата,
Если ранена душа...

И душа в порочном круге, всякий день. Вот мать, у которой убили сына. Глаз на нее поднять нельзя. Все рассуждения, все мысли перед ней замолкают. Только бы ей утешение.

Мало мы понимаем. Может быть, живем только по легкомыслию. Легкомыслие проходит (его отпущенный запас) – и мы умираем.

Не пишется о фактах, о слухах, о делах нашего «тыла». Мы верного ничего не знаем. А что знаем – тому не верим; да и таким все кажется ничтожным. Неподобным и нелепым.

Мы стараемся никого не видеть. Видеть – это видеть не людей, а голое страдание.

Интеллигенция загнана в подполье. Копошится там, как белые, вялые мухи.

Если моя непосредственная жажда, чтобы война кончилась, жажда *чуда* – да простит мне Бог. Не мне – *нам*, ибо нас, обуянных этой жаждой, так много, и все больше...

Мое странное состояние (не пишется о фактах и слухах и все ничтожно) не мое только состояние: общее. Атмосферное.

В атмосфере глубокий и зловещий *штиль*. Низкие-низкие тучи – и тишина.

Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет, и – не ужасно ли? – никто не думает об этом. Оцепенели.

Заботит, что нечего есть, негде жить, но тоже заботит полутупо, оцепенело.

Против самых невероятных, даже не дерзких, а именно невероятных, шагов правительства нет возмущения, даже нет удивления. Спокойствие... отчаянья. Право, не знаю.

Очень «притайно». Дышит ли тайной?

Может быть, да, может быть, нет. Мы в полосе штиля. Низкие, аспидные тучи.

Единственно, что написано о войне – это потрясающие литании Шарля Пеги, французского поэта, убитого на Марне. Вот что я принимаю, ни на линию не сдвигаясь с моего бесповоротного и цельного отрицания идеи войны.

Эти литании были написаны за два года *до* войны. Таков гений.

Не заставить ли себя нарисовать жанровую картинку из современной (вориной) жизни? Уж очень банально, ибо воры – все. Все тащат, кто сколько захватит, от миллиона до рубля. Ниже брезгают, да есть ли ниже? Наш рубль стоит копейку.

Был у нас Вол. Ратьков. (Он с первого дня на войне.) Грудь в крестах. А сам, по-моему, сумасшедший. Все они полусумасшедшие «оттуда». Все до слез доводящие одним видом своим.

По местам бунты. Бастовали заводы: солдаты не захотели быть усмирителями. Пришлось вызвать казаков. Не знаю, чем это кончилось. Вообще мы мало (все) знаем. Мертвый штиль, безлюбопытный, не способствует осведомлению.

Понемногу мы все в корне делаемся «цензурными». Привычка. Китайский башмачок. Сними его поздно – нога не вырастет.

В самом деле, темные слухи никого не волнуют, хотя всем им вяло верят. Занимает дороговизна и голод. А фронты... Насколько можно разобратся – кажется, все в падении.

...и дикий мир
В безумии своем застыл.

Люди гибнут, как трава, облетают, как одуванчики. Молодые, старые, дети... все сравнялись. Даже глупые и умные. Все – глупые. Даже честные и воры. Все – воры.

Или сумасшедшие.

Россия – очень большой сумасшедший дом. Если сразу войти в залу желтого дома, на какой-нибудь вечер безумцев, – вы, не зная, не поймете этого. Как будто и ничего. А они все безумцы.

Есть трагически помешанные, несчастные. Есть и тихие идиоты, со счастливым смехом на отвисших устах собирающие щепочки и, не торопясь, хохоча, поджигающие их серниками. Протопопов из этих «тихих». Поджигательству его никто не мешает, ведь его власть. И дарована ему «свыше».

Таково данное.

Первого (ноября) открылась Дума. Милюков произнес длинную речь, чрезвычайно для него резкую. Говорил об «измене» в придворных и правит. кругах, о роли царицы Ал., о Распутине (да, и о Грише!), Штюрмере, Манасевиче, Питириме – о всей клике дураков, шпионов, взяточников и просто подлецов. Приводил факты и выдержки из немецких газет. Но центром речи его я считаю следующие, по существу ответственные, слова: «Теперь мы видим и знаем, что с этим пр-вом мы так же не можем законодательствовать, как не можем вести Россию к победе».

Цитирую по стенограмме. Нового тут ничего нет, дело известное. Милюкову можно бы сказать с горечью: «Теперь видите?» – и прибавить: «Не поздно ли?»

Но не в том дело. Для него лучше поздно, чем никогда. А вот почему эти ответственные слова фактически – безответственны? Увидели, что «ничего не можем с ними»... и продолжаем с ними? Как же так?

Речь произвела в Думе впечатление. Чхеидзе и Керенскому просто закрыли рот. Всем остальным не просто, а по-печатному. Не только речь Милюкова, но и речи правых, и даже все попытки «своими средствами» передать что-либо о думском заседании – было истреблено. Даже заголовки не позволили.

Вечером по телефону из цензуры сказали: «Вы поменьше присылайте, нам приказ поступать *по-зверски*».

На другой день вместо газет вышла небывало белая бумага. Тоже и на третий, и далее.

Министры не присутствовали на этом первом заседании Думы, но им тотчас все было доложено. Собравшись вечером экстренно, они решили привлечь Милюкова к суду по 103 ст. (оскорбление величества). Не верится, ибо слишком это даже для них глупо.

Следующие заседания протекли столь же возбужденно (Аджемов, Шульгин) и столь же бело в газетах.

«Блокеры» решительно стали в глазах пр-ва – «крамольниками». Увы, только в глазах пр-ва. Если бы с горчичное зерно попало в них «крамольства» действительно! Именно крошечное зернышко в них – целый капитал. Но капитала они не приобрели, а невинность потеряли очень определенно.

Сегодня даже было в газетах заявление Родзянко, что «отчеты не появляются в газетах по независящим обстоятельствам». Сегодня же и пр-венное сообщение: «Не верить темным слухам о сепаратном мире, ибо Россия будет твердо и неуклонно...» и т. д.

Царь только вчера получил речь Милюкова и дал телеграмму, чтобы Шуваев и Григорович поскорее бросились в Думу и покормили ее шоколадом уверения, заверения и уважения. Эти так сегодня и сделали.

Штюрмеру, видно, несдобровать. Уж очень прискандален. Хотят, нечего делать, его «уйти». Назначить Григоровича исполняющим должность премьера, а выдвинуть снова Кривошеина. Отчего это у нас все или «поздно» – или «рано»? Никогда еще не было – «пора».

Милюков увидел правду – «поздно» (и сам не отрицает), но дальше видения – идти «рано». Два-три года тому назад, когда лезли с Кривошеиным, было ему «рано». Теперь никто, ни он сам, не сомневаются, что давным-давно – «поздно».

Вот в этом вся суть: у нас, русских, нет внутреннего понятия о времени, о часе, о «пора». Мы и слова этого почти не знаем. Ощущение это чуждо.

Рано для революции (ну, конечно) и поздно для реформ (без сомнения!).

Рано было бороться с пр-вом даже так, как сейчас борются Милюков и Шульгин... и уже поздно – теперь.

Нет выхода. Но и не может быть его у народа, который не понимает слова «пора» и не умеет произнести в пору это слово.

Что нам пишут о фронте – мы почти и не читаем. Мы с ним давно разъединены: умолчаниями, утомлениями, беспорядочно-страшным тыловым хаосом. Грозным.

Да, грозным. Если мы ничего не сделаем – сделается «что-то» само. И лик его темен.

Не знаю, как нынешнюю зиму сложатся собрания нашего Общества. Думаю, мало что выйдет. Первая «военная» зима (14–15) прошла очень остро, в борьбе между «нами», религиозными осудителями войны, как таковой, и «ними», старыми «националистами», вечными. Вторая зима (15–16) началась, после долгих споров, вопросом «конкретным», докладом Дм. Вл. Filosofova о церкви и государстве, по поводу «записки» думских священников, весьма слабой и реакционной. Были, с одной стороны, эти священники, беспомощно что-то лепетавшие, с другой стороны – видные думцы. Между прочим, говорил тогда и Керенский.

Должна признаться, что я не слышала ни одного слова из его речи. И вот почему: Керенский стоял не на кафедре, а вплотную за моим стулом, за длинным зеленым столом. Кафедра была за нашими спинами, а за кафедрой, на стене, висел громадный, во весь рост, портрет Николая II. В мое ручное зеркало попало лицо Керенского и, совсем рядом, – лицо Николая. Портрет очень недурной, видно похожий (не Серовский ли?). Эти два лица *рядом*, казавшиеся даже на одной плоскости, т. к. я смотрела в один глаз, – до такой степени заинтересовали меня своим гармоничным контрастом, своим интересным «аккордом», что я уже ничего и не слышала из речи Керенского. В самом деле, смотреть на эти два лица рядом – очень поучительно. Являются самые неожиданные мысли, – именно благодаря «аккорду», в котором, однако, все – вопящий диссонанс.

На заседание нынешнего Совета явились к нам два старообрядческих епископа: Иннокентий и Геронтий. И два с ними начетчика. Один сухонький, другой плотный, розовый, бородатый, но со слезой, – меховщик Голубин.

Я тщательно проветрила комнаты и убрала даже пепельницы, не только папиросы.

Сидели владыки в шапочках, кои принесли с собой в саквояжике. Синие пелеринки (манатейки) с красным кантиком. Молодые, истовые. Пили воду (вместо чая). Решительно и положительно, даже как-то мило, ничего не понимают. Еще бы. Консервация – их суть, весь их смысл.

Заседание о Михаиле будет, вероятно, уже после нашего отъезда.

Прошрое, первое нынче осенью, не было очень интересно. Книга Бердяева интересна лишь в смысле ее приближения к полуизуверческой секте «Чемряков» – Щетининцев. Эту секту, после провала старца – Щетинина, подобрал прохвост Бонч-Бруевич (Щетинин – неудачливый Распутин) и начал обрабатывать оставшихся последователей на «божественную» социал-демократию большевистского пошиба. Очень любопытно.

И чего только нет в России! Мы сами даже не знаем. Страна великих и пугающих нелепостей.

О данном часе истории и о данном положении России и хочется говорить. Еще о том, как бессильно мы, русские сознательные люди, враждуем друг с другом... не умея даже сознательно определить свою позицию и найти для нее соответственное имя.

Целая куча разномыслящих окрещена именем «пораженцев», причем это слово давно изменило свой смысл первоначальный. Теперь пораженка я, Чхенкели и – Вильсон. А ведь слово Вильсона – первое честное, разумное, по-земному святое слово о войне (мир без победителей и без побежденных как единое разумное и желанное окончание войны).

А в России зовут «пораженцем» того, кто во время войны смеет говорить о чем-либо, кроме «полной победы». И такой «пораженец» равен – «изменнику» родины. Да каким голосом, какой рупор нужен, чтобы кричать: война *все равно* так в России не кончится! Все равно – будет крах! Будет! Революция или безумный бунт: тем безумнее и страшнее, чем упрямее отвертываются от бесспорного те, что ОДНИ могли бы, приняв на руки вот это идущее, сделать из него «революцию». Сделать, чтоб это была ОНА, а не все сметающее Оно.

И ведь видят как будто. Не Милюкова ли слова: «С этим пр-вом мы не можем вести войну!...» Конечно, не можем. Конечно, нельзя. А если нельзя – то ведь ясно же: *будет крах*. Наши политические разумные верхи ведут свою, чисто оппозиционную и абсолютно безуспешную политику (правый блок), единственный результат которой – их полное отъединение от низов. Поэтому то, что будет, – будет голо – снизу.

Будет, значит, крах: бунт, анархия... почему я знаю! Я боюсь, ибо во время войны революция *только снизу* – особенно страшна. Кто ей поставит пределы? Кто будет кончать ненавистную войну? Именно кончать?

«Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь»... несчастный народ, несчастная Россия... Нет, не хочу. Хочу, чтобы это была именно Революция, чтобы она взяла, честная, войну в свои руки и докончила ее. Если она кончит – то уж прикончит. Убьет.

Вот чего хотим мы, сегодняшние так называемые «пораженцы». Пораженцы?

Нас убеждают еще наши противники, что надо теперь лишь в тиши «подготавливать» революцию, а чтобы была она – *после* войны. После того, как «Россия с этим правительством», с которым она «не может вести войну», доведет ее до конца? О, реальные политики! Такого выбора: революция или революция *после* войны – совсем *нет*. А есть совсем другой. Вот мы, «пораженцы», и выбираем революцию, выбираем нашей горячей надеждой, что будет Она, а не страшное, м. б. длительное, м. б. даже бесплодное *Оно*. Ведь и «по Милюкову» других выборов нет...

Или я во всем ошибаюсь? А если Россия может в позоре рабства до конца войны дотащиться? Может? Не может?

Допускаю, что может. Но допускаю формально вопреки разуму. А уже веры нет ни капли. Я этого не представляю себе и ничего об этом не могу говорить.

А чуть гляжу в другое – я живая мука, и страх, что будет «Оно», гибло-ужасное, и надежда, что нет, что мы успеем...

Даже не помнится об этом жалком дворцовом убийстве пьяного Гришки.

Было – не было, это важно для Пуришкевича. Это не то.

А что России так не «дотащиться» до конца войны – это важно. Не дотащиться. Через год, через два (?), но *будет что-то*, после чего: или мы победим войну, или война победит нас.

Ответственность громадная лежит на наших государственных слоях интеллигенции, которые сейчас одни могут действовать. Дело решится в зависимости от того, в какой мере они окажутся внутри Неизбежного, причастны к нему, т. е. и властны над ним.

Увы, пока они думают не о победе над войной, а только над Германией. Ничему не учатся. Хоть бы узкий переворот подготавливали. Хоть бы тут подумали о «политике», а не о своей доктринской «честной прямоте» парламентских деятелей (причем у нас «нет парламента»).

Я говорю – год, два... Но это абсурд. Скрытая ненависть к войне так растет, что войну надо, и для окончания, *оканчивания*, как-то иначе повернуть. Надо, чтоб война стала войной для *конца* себя. Или ненависть к войне, распучившись, разорвет ее на куски. И это будет не конец: змеиные куски живут и отдельно.

Вернувшись под аспидное небо, к слепой твердости «приявших войну» – не ослепну ли я? Нет, просто буду молчать – и ждать бессильно. При каждом случае гадая в страхе и сомнении: еще не то. Или то? Нет, еще не сегодня. Завтра? Или послезавтра?

Я ничего не могу изменить, только знаю, что *будет*. А кто мог бы, не линийку, – те не знают, что *будет*. Слова?

«...Слова – как пена,
Невозвратимы – и ничтожны...
Слова измена,
Когда деянья невозможны...»

Я не фаталистка. Я думаю, что люди (воля) что-то весят в истории. Оттого так нужно, чтобы видели жизнь те, кто может действовать.

Быть может, и теперь уже поздно. А когда придет Она или Оно – поздно наверно. Уж какое будет. Ихнее – нижнее – только нижнее. А ведь война. Ведь *война*!

Если начнется ударами, периодическими бунтами, то авось, кому надо, успеют понять, принять, помочь... Впрочем, я не знаю, как будет. Будет. Надоело все об одном. Выбора нет.

«Не революция – блевотина войны»

Глубокие снега, жестокий мороз. Но по утрам в Таврическом саду небо розово светит. И розовит мертвый, круглый купол Думы.

Убийство Гришки и здесь продолжает мне казаться жалкой вещью. Заговорщиков и убийц, «завистливых родственников», разослали по вотчинам, а Гришку в Царском Селе вся высочайшая семья хоронила.

Теперь ждем чудес на могиле. Без этого не обойдется. Ведь мученик. Охота была этой мрази венец создавать. А пока болото – черти найдутся, всех не перебьешь.

Ради нового премьера Думу отложили на месяц. Пусть к делам приобьикнет, а то ничего не знает.

Да чуть не все новые, незнающие. Т. е. все самые старые. Протопопов набрал. А он крепок, особенно теперь, когда Гришенькино место пусто. Протопопов же сам с «божественной слезой» и на прорицания, хотя еще робко, но уже посягает.

Со стороны взглянуть – комедия. Ну, пусть чужие смеются. Я не могу. У меня смех в горле останавливается.

Ведь это – мы. Ведь это Россия в таком стыде.

И что еще будет!

Петербург полон самыми злыми (?) слухами. Да уж и не слухами только. Очень определенно говорят, что к 14-му, к открытию Думы, будет приурочено выступление рабочих. Что они пойдут к Думе изъявлять поддержку ее требованиям... очевидно, оппозиционным, но каким? Требованиям ответственного министерства, что ли, или Милюковского – «доверия?» Слухи не определяют.

Мне это кажется нереальным. Ничего этого, думаю, не будет. Причин много, почему не будет, а главная и первая (даже упраздняющая перечисление других) это – что рабочие думский блок *поддерживать не будут*.

Керенский возмущенно рассказывал недавнюю историю ареста рабочих из военно-промышленного комитета и поведение, всю позицию Милюкова при этом случае. Керенский кипятился, из себя выходил – а я только пожимала плечами. Ничего нового, Милюков и его блок верны себе. Были слепы и пребывают в слепоте (хотя *говорят*, что видят, значит, «грех остается на них»).

Керенский непоседлив и нетерпелив, как всегда. Но он прав глубоко, даже в нетерпении и возмущении своем. Провожая его, в передней, я спросила (после операции мы еще не видались):

– Ну, как же вы теперь себя чувствуете?

– Я? Что ж, физически – да, лучше, чем прежде, а так... лучше не говорить.

Махнул рукой с таким отчаянием, что я вдруг вспомнила один из его давнишних телефонов: «А теперь будет то, что начинается с а...»

А рабочие все же не пойдут 14-го поддерживать Думу.

Слухи о готовящихся выступлениях так разрослись перед 14-м, что думцы-блокисты стали пускать контрслухи, будто выступления предполагаются провокаторские.

Тогда я позвонила к одному из «нереальных» политиков, т. е. к одному из левых интеллигентов. Правда, лично он звезд не хватает и в политике его, всяческой, я весьма сомневаюсь, – даже в правильной информации сомневаюсь, – однако насчет «провокации» может знать.

Он ее отверг и был очень утвердителен насчет скорых возможностей: «Движение в прекрасных руках».

Между тем 14-го, как я предрекала, ровно ничего не случилось.

Вернее – случилось большое «Ничего». Протопопов делал вид, что беспокоится, наставил за воротами пулеметов (особенно около Думы, на путях к ней; мы, например, кругом в пулеметах), собрал преображенцев...

Но и в Думе было – Ничего. Министров ни малейших. Охота им туда ездить, только время тратить! Блокистам дан был, для точения зубов, один продовольственный Риттих, но он мудро завел шарманку на два часа, а потом блокисты скисли. «Он сорвал настроение Думы», – писали газеты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.